

Военные
Приключения

ПОДЖИГАТЕЛИ

НОЧЬ
ДЛИННЫХ
НОЖЕЙ

НИК. ШПАНОВ



Поджигатели

Николай Шпанов

**Поджигатели. Ночь
длинных ножей**

«ВЕЧЕ»

1949

Шпанов Н. Н.

Поджигатели. Ночь длинных ножей / Н. Н. Шпанов — «ВЕЧЕ»,
1949 — (Поджигатели)

ISBN 978-5-4444-0201-6

Признанный мастер политического детектива Юлиан Семенов считал, что «в наш век человек уже не может жить без политики». Перед вами первый отечественный роман, написанный в этом столь популярном сегодня жанре! Тридцатые годы XX века... На страницах книги действуют американские и английские миллиардеры, министры и политики, подпольщики и провокаторы. Автор многих советских бестселлеров, которыми полвека назад зачитывалась вся страна, с присущим ему блеском рассказывает, благодаря чему Гитлер и его подручные пришли к власти, кто потакал фашистам в реализации их авантюрных планов.

ISBN 978-5-4444-0201-6

© Шпанов Н. Н., 1949

© ВЕЧЕ, 1949

Содержание

1	6
2	17
3	21
4	29
5	35
6	39
7	43
8	49
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Ник. Шпанов

Поджигатели. Ночь длинных ножей

© Шпанов Н.Н., 2012

© ООО «Издательство «Вече», 2012

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Надо объяснить людям реальную обстановку того, как велика тайна, в которой война рождается...

В.И. Ленин

В стране классового, иерархического строя свирепствует фашизм, который, по сути его, является организацией отбора наиболее гнусных мерзавцев и подлецов для порабощения всех остальных людей, для воспитания их домашними животными капиталистов.

М. Горький

1

Декабрьским вечером 1932 года на одной из пристаней нью-йоркского порта, принадлежащей немецкой трансатлантической компании «Гамбург – Америка», произошло нечто небывалое: теплоход «Фридрих Великий», один из крупнейших и быстроходнейших пассажирских кораблей того времени, отвалил в очередной рейс на два с половиной часа позже, чем значилось в расписании.

Как люди, оставшиеся на американском берегу, так и две тысячи четыреста шестьдесят пассажиров и четыреста сорок человек команды «Фридриха» могли только теряться в догадках о причинах этой неслыханной задержки. У них было мало надежды узнать правду. Даже в отношении капитана «Фридриха», Гуго Хаммера, безусловно, честного человека и отличного моряка, можно утверждать, что если бы он во время перехода по Атлантике мог уяснить себе последствия, которые будет иметь для немецкого народа задержка, да и самый этот рейс, он, возможно, скорее согласился бы утонуть вместе с кораблем посреди океана, нежели довести его до берегов Европы.

Несколько пассажиров, занимавших каюты «особого коридора» вокруг помещения, носившего условное наименование «салона для новобрачных», могли бы объяснить причину задержки отплытия и смысл их собственного пребывания на борту «Фридриха». Но они молчали. От журналистов и прочих любопытных их надежно оберегали безмолвные здоровенные молодцы в штатском, каждые два часа сменявшиеся у дверей, ведущих в этот «особый коридор».

Но едва ли существуют на свете тайны, которые рано или поздно не становятся достоянием истории. Стало известно, что отплытие «Фридриха Великого» было задержано по приказу германского посла в Штатах. Позднее было с точностью выяснено, что именно в эти часы посол находился в здании государственного департамента. День был субботний, и в государственном департаменте уже не было никого из старших служащих. Освещенными оставались только окна кабинета Государственного секретаря, следовательно, нетрудно было установить, что германский посол находился именно в этом кабинете. Кроме посла и самого Государственного секретаря там присутствовало еще одно лицо, имя которого долго оставалось неизвестным. Это лицо под охраной нескольких частных сыщиков и прибыло на самолете из Вашингтона на аэродром Лонг-Айленд в Нью-Йорке и прямо оттуда проследовало на борт «Фридриха Великого», где тотчас скрылось за дверью «салона для новобрачных».

В списке лиц, когда-либо пользовавшихся этим салоном, значились английские лорды и индийские раджи, короли и принцы, послы и министры. Этот пышный список печатался в проспектах компании «Гамбург – Америка». Но в нем никогда так и не появилось имя лица, занимавшего салон в рейсе, начавшемся декабрьским вечером 1932 года.

Пассажир этот не имел никаких титулов. Он был плотным мужчиной большого роста, далеко не старым с лица, хотя над его лбом, таким же розовым, как и мясистые округлые щеки, серебрились коротко остриженные седые волосы. У него был тяжелый подбородок и оттопыренные, как большие морские раковины, хрящеватые уши. Ни одной из своих черт он не походил на тех «породистых» и большею частью худосочных аристократов, которые иногда занимали салон. Взгляд его больших водянисто-голубых глаз казался рассеянным, скользким, но лишь до того момента, пока они не останавливались на собеседнике или в них не вспыхивал огонек гнева. Тогда их взгляд становился тяжелым, глаза из голубых превращались в серые и сразу выдавали волю и упорство их обладателя.

Звали этого человека Джон Аллен Ванденгейм Третий. Он не мог похвалиться тем, что его предки высадились с «Майского цветка», да и вообще предпочитал не копаться в своей родословной дальше двух поколений. В душе он осуждал своего покойного отца, Джона Ван-

денгейма Второго, за то, что тот имел привычку шутливо хвастать своим происхождением от некоего карибского пирата, хотя и не стяжавшего их роду славы, но зато оставившего наследникам первый миллион долларов, приумноженный ими до полумиллиарда. Нелюбовь Джона Ванденгейма Третьего к легенде о пирате объяснялась просто: вовсе не он один знал, что в действительности этот «пират» Ион Ван-ден-Гейм был беглым голландским каторжником и совершенно сухопутным человеком. Полею его деятельности было вовсе не Карибское море, а трущобы Чикаго. И миллион был им оставлен не в виде жемчугов и рубинов, похищенных из трюмов чужих кораблей, а банкнотами, добытыми преступлениями, среди которых далеко не последнее место занимали обыкновенные убийства. Единственное, чем он мог похвастать, – то, что его по справедливости можно было считать одним из основателей тогда еще нового промысла – рэкета.

Джон Третий и Самый Младший не видел забрызганных кровью банкнот, награбленных дедом. Он считался потомственным миллиардером и не интересовался тем, как выглядят наличные деньги. Их заменяли ему чековые книжки доброй полудюжины американских и европейских банков, входящих в систему его «дома».

Джон Ванденгейм вовсе не был новобрачным и даже не знал, что его каюта, состоящая из четырех великолепных апартаментов, носит столь идиллическое название. Первые две ночи трансатлантического перехода он спал плохо. Он ворочался в постели, такой чудовищно огромной, что на ней можно было бы сыграть в поло; несколько раз он просыпался, лежал с открытыми глазами, словно невеселые видения покинутой им американской действительности преследовали его и на борту «Фридриха».

Уж он-то, Джон Ванденгейм Третий, казалось ему, знал, что происходит в мире. Больше того, он воображал себя одним из тех центров, вокруг которых движутся известные ему миры единственно понятной ему вселенной, – мир банков и прессы, нефти и стали, химии и железных дорог; мир политики с избирательной машиной, поставляющей роботов для протаскивания в конгрессе нужных джонам законов, судей для борьбы с законами, мешающими джонам, губернаторов для борьбы с бастующими рабочими джоном; мир «своих» профсоюзов с их лидерами, состоящими на жалованье у джоном и предназначенными для разгрома стачек, с которыми бессильны справиться губернаторы; мир церкви, довершающей то, чего не могут сделать ни губернаторы, ни профсоюзные лидеры, – залезть в души голодных и недовольных, всучить вместо хлеба молитвы и проповедовать покорность вместо борьбы, блаженство на небесах вместо человеческого существования на Земле.

Все это были миры, доступные пониманию Джона. Центрами притяжения в них были меллоны, дюпоны, рокфеллеры, морганы – «солнца» керосиновых, оружейных, консервных и паровых систем, такие же «светила», как он сам, Джон Ванденгейм Третий, воображающий, будто от его разума и воли зависит вращение его джоном системы вправо или влево.

Представление о себе как о динамической силе, измеряемой количеством долларов, втянутых в его орбиту, было столь органически свойственно его психологии, столь неотъемлемо от его ощущения самого себя, что казалось чем-то безусловно разумеющимся и не нуждающимся ни в каком анализе. С точки зрения Джона, анализировать существо его власти было так же глупо, как тратить время на проверку закона всемирного тяготения. Спорить о вечности и богоустановленности власти джоном было, по мнению Ванденгейма, так же кощунственно, как доброму католику сомневаться в святости папы – наместника Господа Бога на земле.

Ванденгейм был твердо уверен, что ходом жизни на оставшейся за бортом «Фридриха» американской земле управляют законы, создаваемые джонами. Правда, в молодости он читал, что подобно тому, как Дарвин открыл закон развития органического мира, так Маркс открыл закон развития человеческой истории. Но так же, как об открытии Дарвина, Джон думал только однажды, когда читал отчеты об «обезьяньем процессе», так и о Марксе он вспоминал, только слыша о коммунистах.

Джон не имел никакого представления о том, что и его собственным «миром» и ходом всей истории человечества в конечном счете управляют не государственные мужи, не сенаторы, которых держат на жалованье джоны, не воззрения немногих людей, определяющих для остальных право насыщаться или умирать с голоду. Джон почел бы просто «красным пропагандистом» того, кто попытался бы его уверить, что ходом истории управляет открытый Марксом великий закон развития человеческого общества на всех его ступенях, закон, точно раскрывающий стимулы и основы жизни как в пору варварства, так и в пору современной дикости – «цивилизации» джонов.

Ванденгейм не понимал, что именно этот закон действовал с неумолимой силой и предопределял безостановочную погоню всех джонов за прибылью и непрерывное возрастание капитала джонов, но вместе с ним и рост массы наемного труда. Этот закон ставил джонов в нелепое положение беспомощного волшебника, создавшего могущественные силы – средства производства и обмена – и оказывающегося не в состоянии справиться с ними. Более того: вследствие классовой ограниченности своей философии «волшебник» не догадывался, что он сам в погоне за наживой прежде всего создает собственных могильщиков – пролетариев. Джон, наконец, не подозревал, что не по собственной «свободной» воле и не в результате своего или своих сообщников «независимого» решения, а именно в силу сложного действия этого же открытого Марксом закона сам он, Джон Третий, солнце «системы Ванденгейма», должен был сегодня отправиться в Европу.

Он вынужден был покинуть Америку в тот трагический для него и для всех его единомышленников момент, когда подрезанный кризисом их кандидат в президенты Гувер провалился на выборах, уступив место Франклину Делано Рузвельту. Говорили, что новый президент намерен даже поставить вопрос о признании Советского Союза.

И все это происходило в то время, когда, по официальной оценке английского правительства, общий процесс разложения капиталистической системы «дошел до точки, где уже начиналась попытка ликвидировать не только частные капиталы и предприятия, но и целые страны», когда «во всех направлениях замечаются признаки паралича торговли и угрозы банкротства и финансового краха», когда «международный денежный механизм, без которого современный мир не в состоянии эффективно существовать, разбит на куски».

Джон должен был оторваться от своего американского дома в то самое время, когда французская пресса вопила: «Горизонт мрачен! Вершителям судеб придется разрешить величайшую из всех задач, которую когда-либо приходилось решать ответственным правительствам, а именно – спасти нашу цивилизацию, находящуюся в опасности»; когда в цитадели капиталистического благоденствия – Соединенных Штатах Америки – двадцатипятилетняя армия доведенных до отчаяния ветеранов войны совершала голодный поход в Вашингтон и войска получили от начальника генштаба генерала Макартура приказ открыть огонь, чтобы не пустить своих изголодавшихся товарищей к Белому дому. Сам осторожный «Таймс» вынужден был сознаться: «Несмотря на то, что в банковских подвалах Америки находится почти половина золотого запаса двадцати девяти главных стран мира, – там наблюдаются нищета и лишения, не знающие параллели в истории Соединенных Штатов». Треть трудоспособного населения Нью-Йорка сидела без работы и готова была предложить свой труд за любую цену, чтобы спасти от голодной смерти свои семьи.

Значительная часть фермерского населения Штатов была доведена до полного разорения и отчаяния. Миллионы людей превращались в бездомных бродяг, кочующих по стране. Единственным утешением могло им служить то обстоятельство, что 17 миллионов безработных американцев составляли меньше половины людей, бродящих по улицам городов так называемых цивилизованных стран Европы и Южной Америки в поисках работы и хлеба.

Джон Ванденгейм и подобные ему «вершители судеб» видели только внешнюю сторону фактов и не понимали исторической сущности событий. Все усилия оплачиваемых ими фило-

софов и экономистов были направлены на нелепые и тщетные попытки опровержения Марксова закона, открывшего путь к познанию подлинного хода истории. Они утверждали, будто все зло в репарациях, которые по Версальскому договору немцы были обязаны платить победителям, и в военных долгах союзников американскому казначейству. Якобы только эти долги и репарации нарушали экономическое равновесие мира, и стоит-де простить немцам их репарации и отсрочить англичанам и французам их долги, как все придет в порядок.

Это ставило истину на голову, но джоны за то и платили деньги своим ученым и газетчикам, чтобы любая чепуха имела вид евангельской истины, нужной хозяевам США. А какой же голодный американский рабочий и фермер не согласился бы простить таким же голодным немцам и французам нескольких миллиардов, имевших к тому же в его представлении чисто теоретический смысл, если это прощение означало возможность завтра же получить работу? Особенно, если от этого рабочего или фермера скрывали, что прощение официальных долгов американскому государству необходимо, чтобы дать возможность немецким, французским и английским банкирам платить проценты по частным займам, сделанным у американских банкиров. В массе своей простые люди не могли знать, что прощение военных долгов – это псевдоним финансовой операции, имевшей целью поставить на ноги еще чахлае чудовище европейского фашизма, без помощи которого всем ванденгеймам Америки и Европы уже казалось невозможным спастись от света великой ленинской правды, все ярче разгорающегося в Советском Союзе.

Пущенная в ход слугами капитала социальная демагогия представляла фашизм как разновидность «обновления» мира. А социал-демократия, все еще державшая в духовном плену многие миллионы рабочих и интеллигенции, вместо того чтобы разоблачить фашизм, оказывалась на практике его опорой. Правду о том, что фашизм – боевая организация буржуазии, опирающаяся на активную поддержку социал-демократии, несли в массы коммунисты. Но на них продажная капиталистическая и так называемая социалистическая пресса изливала потоки лжи. Против коммунистов все яростнее ополчалась полиция всех европейских, американских и азиатских буржуазий, хотя это и не могло скрыть светлую и простую правду коммунистических идей от простых людей во всем мире.

Все с большим страхом враги коммунизма следили за тем, что происходит в СССР. План великих работ – первая пятилетка – повергал их в смятение; о нем они еще в 1929 году откровенно писали: «Если эксперимент удастся даже только на три четверти, то не придется больше сомневаться в окончательной победе. Это была бы тогда победа социалистического метода, достигнутая силами молодого, способного верить, одаренного народа». А когда советский народ выполнил эту пятилетку не в пять, а в четыре года, реакционная «Тан» с горечью признавалась: «Коммунизм гигантскими темпами завершает реконструкцию, в то время как капиталистический строй позволяет двигаться только медленными шагами. В состязании с нами большевики оказались победителями».

Да, большевики оказались победителями! Рабочие делегации и просто туристы многих национальностей, побывав в СССР, видели своими глазами и убеждались, что пятилетка – не утопия, не фантазия, а нечто реальное, огромное и политически всепобеждающее. От нее нельзя было отделаться болтовней, ее нельзя было и замолчать. Невозможно было преуменьшить ее международный политический смысл. Как ни хотелось капиталистическим главарям сделать вид, что они считают пятилетку частным делом Советского Союза, международное значение успеха грандиозного плана не подлежало сомнению. Чем сильнее становился Советский Союз экономически, тем выше поднимался его авторитет в мире, тем активней и успешней вел он борьбу за мир. Эта борьба, запечатленная во многих документах того времени, приобщала к лагерю друзей СССР все новых и новых сторонников. К тому же нельзя было уже надеяться почерпнуть в ожидавшихся неудачах пятилетки доводы против социализма: успешное и досрочное осуществление великого плана было неоспоримым аргументом за революцию,

за социалистический метод хозяйствования, против капитализма. Глядя на успехи пятилетки, революционные рабочие всех стран, всего мира объединялись на борьбу со всей буржуазией. «Если могут русские рабочие и крестьяне, то почему не можем мы?» – этот вопрос вставал перед трудящимися всего мира. И чем громче он звучал, тем настойчивее ванденгеймы старались мобилизовать все свои силы для «похода на восток». Одним из важных звеньев этой мобилизации и было то, что предприняли американские и английские монополисты на материке Европы: создание антисоветского фронта силами мечтающего о реванше немецкого воинствующего капитализма, силами немецкого милитаризма, забывшего уроки недавней войны, и, наконец, силами нарождающегося немецкого фашизма.

Отправляясь в Европу, Джон Ванденгейм больше всего думал о смысле происходивших в Германии событий, и ему казалось, что он знает достаточно, чтобы направить эти события так, как нужно было ему и его сообщникам и доверителям – меллонам, дюпонам, рокфеллерам. Он был уверен, что знает все, что следует знать, чтобы снова сделать Германию тем, чем она была для Европы уже добрых полвека, – возбудителем военной лихорадки. Если удастся снова заразить этим недугом немецкий народ, тогда не только дадут богатые всходы доллары, посеянные ванденгеймами на ниве немецкой тяжелой промышленности, но и вся остальная Европа, – хочет она того или нет, – обратится в надежного покупателя американских товаров. Неизбежно повторится высокая конъюнктура на все виды изделий военной и тяжелой промышленности. Тогда конец кризису, грозящему разрушить американское хозяйство! Миллионные армии безработных американцев за половинную плату станут тогда к станкам, чтобы выколачивать прибыли для Джона. Если же к тому времени половина их и перемерет от голода, большой беды не будет, рабочих рук хватит, а страх голодной смерти погонит остальных в ворота его заводов! Голод – надежный штрейкбрехер.

Да, Джону казалось, что все на свете можно устроить, нужно лишь знать, как взяться за дело. И ворочался он в своей широкой постели только потому, что его снедали беспокойство, страх, сомнения: не опоздает ли он?

Второе утро застало Джона сидящим на мраморной ступеньке бассейна для плавания и задумчиво болтающим ногою в подогретой воде. Ему не хотелось лезть в воду, – ее температура была на градус или два ниже той, к которой он привык дома.

Джон меланхолически почесал спину, и длинные ногти, цепляясь за волосы, издали противный скребущий звук.

Ванденгейм поморщился и пощупал рыхлую розовую складку на поясице.

Эта складка была для него неприятным открытием.

Перегруженность делами выбила его в последнее время из колеи нормальной жизни. Спорт был почти заброшен, и вот, извольте, сразу такая гадость! В Европе, конечно, нечего и надеяться сбросить лишний вес – там будет не до спорта. Но как только он вернется в Штаты – немедленно за нормальный режим! А то, чего доброго, к семидесяти годам станешь стариком.

Ванденгейм встал и обошел вокруг бассейна к другому краю, где было мельче. Там он осторожно слез в воду и окунулся, старательно зажав нос и уши и громко отфыркиваясь.

За этим занятием его и застал Генри Шрейбер, один из тех, кто занимал каюты «особого коридора» вокруг салона Ванденгейма.

Генри Шрейбер не был мелкой сошкой, он и сам являлся главою большой банковской корпорации – американского филиала англо-германского банковского объединения «Братья Шрейбер», но в игре с Ванденгеймом он был младшим партнером. Вместе с некоторыми другими банками вроде «Кун и Леб» и «Диллон, Рид и К^о» он играл роль шланга, через который живительный золотой дождь американских долларов изливался на промышленные поля Германии.

На этот раз распоряжаться деньгами, по доверию своих коллег-банкиров, должен был Ванденгейм. Это он, Ванденгейм, а не Генри Шрейбер имел вчера длительную беседу с Государственным секретарем, определившую направление помощи, которую дипломатическая служба Штатов должна была напоследок, перед приходом нового президента, оказать едущим в Европу полномочным представителям Уолл-стрит.

Правда, несколько кают «особого коридора» были заняты немцами, но эти господа не имели решающего голоса. Даже глава англо-германского объединения Шрейберов барон Курт фон Шрейбер, даже главный директор Рейхсбанка доктор Яльмар Шахт. Шахт сделал свое дело: соблазнил американцев перспективою поездки – и мог теперь спокойно спать.

Перед тем как появиться в купальном зале, Генри Шрейбер уже успел прогуляться по палубе и позавтракать. Усевшись на скамью у бассейна, он закурил и стал ждать, когда Ванденгейм закончит купание.

Снаружи, над хмурым морем, стояли низкие и такие же хмурые облака. Время от времени они сыпали мокрой снежной крупой. Здесь же, в бассейне, можно было подумать, что над головою сияет солнце: сквозь желтые стекла потолка лился яркий искусственный свет. В его лучах весело зеленели кусты магнолий.

– Послушайте, Джон, – сказал Шрейбер Ванденгейму, продолжавшему плескаться в бассейне, – еще один такой купальщик – и вода выйдет из берегов!

– Да, эта лохань не по мне.

Ванденгейм с пыхтением вылез из воды. Подрагивая розовыми складками большого тела, он протрусил к дивану и поспешно закутался в халат.

– Будь я проклят, если еще когда-нибудь поеду на немецком корыте, – проворчал он.

– Честное слово, Джон, вы напрасно ворчите. Этот «Фридрих» совсем не такая плохая посудина.

– Все не так... как я привык! Черт бы их побрал с их экономией! Неужели нельзя поднять температуру воды еще на два-три градуса?.. Бр-р!..

– Для немцев купанье – не столько удовольствие, сколько «процедура».

– Вся их жизнь – только процедура, черт их побери!

– Но мы, старина, – с заискивающей фамильярностью сказал Шрейбер, – заинтересованы в том, чтобы у них действительно было крепкое здоровье... Взять хотя бы моего брата...

Генри Шрейбер с самого момента появления в купальном зале думал о своем старшем брате – Курте Шрейбере, ждавшем в коридоре разрешения войти. Глава Гамбургского банка Шрейберов напрасно добивался в Штатах личного свидания с Ванденгеймом. Оно было ему необходимо, совершенно необходимо, если он не хотел сойти на вторые роли в начинавшемся новом туре вторжения доллара в Европу. Генри обещал ему устроить это свидание на пароходе. И вот Курт, отшвыривая одну за другой начатые и недокуренные папиросы, нервно расхаживал около двери, ведущей в помещение бассейна. Казалось, ничто не мешало ему толкнуть дверь и войти. Но сила, более могущественная, чем любая полиция, государственная или частная, удерживала Шрейбера по эту сторону двери. Это была сила денег, которых у Ванденгейма было в сто раз больше, чем у Курта. Сознание такой разницы лишало уверенности в себе этого обычно заносчивого и не терпящего возражений властного главу немецкого дома Шрейберов.

Тем временем его младший брат, не получив от Ванденгейма ответа на реплику о Курте, спросил:

– Вы не думаете, Джон, что ваш личный разговор с Куртом принес бы пользу?

– Не думаю.

– Вы узнали бы из первых уст то, чего, в конце концов, не могут знать ваши эксперты.

– Спросите и скажите мне.

– Можно подумать – вы боитесь Курта, что ли?

– Боюсь? – Ванденгейм пожал плечами. – Глупое слово, Генри.

– Я не то хотел сказать.

– А я всегда говорю только то, что хочу.

– Видите ли, Джон, мне казалось, что вам нужно хоть раз поговорить друг с другом откровенно. Все-таки Курт – это Европа.

– Не Европа, а Германия. Та самая Германия, которая уже слопала шесть миллиардов наших долларов и разевает пасть на новые. Я бы даже сузил понятие: не столько Германия, сколько Рур.

– Но вы же сами знаете, Джон: не поставив его на ноги, мы потеряем и то, что дали!

– Знаю!

– Значит, мы должны помочь англичанам и французам – тем из них, кто правильно понимает положение вещей, – вытащить Германию из ямы, в которую она может скатиться.

– Глупости!

Шрейбер некоторое время удивленно смотрел на Ванденгейма.

– Я вас не понимаю, Джон.

– Чего вы ждете от Англии и Франции? У них дрожат руки, когда приходится давать немцам каждый новый цент, – тянут, оглядываются. Развал в Германии грозит черт знает чем. Там нужна твердая власть. Такая власть, которая обеспечит нам сохранность наших денег.

– Как раз то, о чем и я говорю! – радостно воскликнул Шрейбер.

– Видите ли, Генри, – медленно проговорил Ванденгейм, – именно сейчас вам нужно до конца понять: надежды на то, что европейцы будут в течение шестидесяти лет, как овцы, выплачивать нам военные долги, могут жить только в головах последних дураков. Европейцы, которые и сейчас уже полные банкроты?..

– Идиотизм, – поспешно согласился банкир.

Ванденгейм продолжал:

– Нам гораздо выгоднее сделать гуманный жест и списать в убыток все военные займы, когда-либо предоставленные Штатами европейским правительствам, но зато обеспечить платежеспособность Европы по тем кредитам, которые предоставили ей мы... Мы! – повторил он внушительно. – Меллон, Морган, Дюпон, я... Я! Пусть эту кашу расхлебывает казначейство нового президента. Налогоплательщики еще немножко подтянут пояса: это им не впервой. Большой беды в этом не будет. Но частные долги Европы должны остаться частными долгами. Никому – ни президенту, ни конгрессу – мы не позволим хозяйничать в нашем кармане!

– Говорят, будто Рузвельт приведет Моргантау. А этот умеет залезать в чужой карман.

Ванденгейм сердито выпятил челюсть:

– Руки коротки и у Моргантау.

– Большие планы... большие планы, Джон! – взволнованным шепотом ответил Шрейбер. В его голове пронесся вихрь многозначных чисел: денежный поток, протекающий через фильтры его банка и оставляющий на этом фильтре столь вожаденный золотой. – Это настоящее дело, Джон! – повторил он. – Но для этого нам нужно взять за горло французов, нужно окончательно свалить англичан... С этим придется повозиться.

– Повозиться? – Ванденгейм расхохотался. – Нет, дружище, они уже достаточно крепко держат друг друга за глотку. Начинается другая игра. Довольно мышшиной возни! Мы – янки!

– Большие планы, большие планы, Джон...

– Если мы уже вложили в Германию шесть миллиардов, то вложим еще шестьдесят...

– Немцы никогда не смогут с нами расплатиться.

– Какие там, к черту, расплаты! – крикнул Ванденгейм. – Вы смотрите с точки зрения мелкого менялы, которому выгодно, чтобы деньги текли в обе стороны, лишь бы через ваши руки. А я и не хочу, чтобы они возвращались в Америку. Пусть все остается там! Я хочу стать хозяином в Германии...

– В Германии нет достаточно твердой власти, Джон, – пробормотал Шрейбер. – Если бы вы знали, что произошло с последними выборами в рейхстаг!..

– Только, пожалуйста, без рождественских ужасов.

– Национал-социалисты потеряли два миллиона голосов, а коммунисты приобрели шесть миллионов!

– Знаю, знаю: если немецкой лавочке предоставить идти своим путем, то к следующим выборам коммунисты придут с двенадцатью миллионами голосов!

– Я об этом и говорю! – обрадованно подтвердил Шрейбер. – Вы знаете, кому позволили открыть рейхстаг?.. Коммунистке Кларе Цеткин!

– А зачем у них до сих пор вообще существует этот рейхстаг? Германии не нужно никакого рейхстага! Довольно и коммунистов в Германии и где бы то ни было! Пора во всей Европе завести надежный порядок. Такой, как в Италии!

– К сожалению, не везде есть римские папы! – со вздохом проговорил Шрейбер. – Пий XI положил немало труда на то, чтобы подчинить итальянцев главарию чернорубашечников. – Вдруг Шрейбер ударил себя по лбу: – О-ля-ля, Джон! Ведь в Германии же есть целая армия католиков! Брюнинг – вот фигура, которую снова можно двинуть в ход, вместе с ним к нам на службу придет весь аппарат папского Рима...

– Нет, нет! – с живостью отозвался Ванденгейм. – Оставьте Брюнинга в покое. Эта фигура для другого времени.

– Вы допускаете возможность такой сложной ситуации? Если говорить о католиках, то лучше поддержать пока Папена. Все равно без католической партии Центра дело не обойдется.

– Может быть, – согласился Ванденгейм. – Но Папен не годится.

– А если поддержать Папена еще ходом «слева»?..

– Не говорите глупостей, Генри!

– Я имею в виду таких левых, как Носке.

– Ах, эти!.. Нет, социал-демократическим чучелом теперь не обманешь даже самых доверчивых немцев. Папена должен сменить какой-нибудь тип покруче, чем этот Носке. Что-нибудь откровенно националистическое, прямое, грубое. Понимаете?

После короткого размышления Шрейбер воскликнул:

– Курт вам скажет: он и его коллеги из финансового мира считают, что там есть подходящий тип.

Генри нарочно сослался на брата, думая, что теперь-то Джон захочет его видеть, но тот словно и не слышал.

– Кто этот тип? – спросил он.

– Гитлер.

– Слышал. А военные его поддержат?

– Генералы на его стороне.

Ванденгейм встал и, скинув халат, принялся приседать, разводя руки в стороны. Генри Шрейбер подумал, что следовало бы сказать Курту, что с приемом у Ванденгейма ничего не выйдет. Но для этого пришлось бы выйти из зала и, следовательно, рискнуть упустить Ванденгейма. Генри решил, что с Куртом ничего не случится, если он и подождет, и принялся закуривать. Делая вид, что его больше всего заботит отсыревшая сигарета, он спросил:

– А что сказал вчера Стимсон?

– Чтобы вы меньше думали о комиссионных.

Шрейбер делано рассмеялся.

– Да, да, – сказал Ванденгейм, – это серьезно. Он полагает, что мы с вами сейчас отвечаем не только за наши дела, а за лавочку в целом.

– Он имеет в виду Европу?

– Европу и вообще... – Ванденгейм сделал округлое движение обеими руками, словно охватывая большой шар.

– Правильная точка зрения, – кивнул Шрейбер.

– Он-то готов поддержать все наши шаги, которые поведут к укреплению Германии, чтобы она могла противостоять красным, но имейте в виду: на этот раз вы должны использовать содействие стимсоновской команды вовсю.

– Мы и так...

– Я к тому, что его уход – дело решенное. А еще неизвестно, так ли легко сговоришься с Хэллом.

– С Хэллом?

– Да, Рузвельт притащит этого старика.

– И все же мы-то своего добьемся, а вот как Рузвельт – не знаю.

– Нужно, не откладывая, взяться за дело.

– Ясно, ясно!

– Вы наивничаете, Генри! – угрожающе проговорил Ванденгейм. Он сел на диван и упер руки в бока. Халат распахнулся. – Первое, что вы должны сделать, – это помирить «ИГ» с Тиссенем и Круппом. Мне, в конце концов, наплевать, как он будет называться, этот их новый парень...

– Гитлер, – подсказал Шрейбер.

– Черт с ним, пусть будет Гитлер, если на него можно положиться, но я не желаю больше, чтобы немцы тратили мои деньги на внутренние драки.

– Мне тоже ни один из них не родственник, – пренебрежительно заявил Шрейбер.

– Посоветуйтесь с Шахтом.

– Тут нужен совет военных.

– Так потолкуйте с их генералами.

– Можно подумать, Джон, что теперь вы решили играть в простоту.

– Что еще?

– Мы же сами создали положение, при котором генералы смотрят из рук Тиссена и компании.

– А Тиссен из рук генералов?.. Согласитесь, Генри, – примирительно закончил Ванденгейм, – это же глупо: с одной стороны, как пайщик «Дженерал моторс» я даю деньги Тиссену, с другой стороны, как пайщик Дюпона – «ИГ». А они грызутся. Это же глупо!

– Может быть, и не так глупо, как кажется. Чтобы нарыв лопнул, ему нужен компресс.

– К черту компрессы, Генри! У нас нет на это времени. Нарыв нужно вскрыть ножом. И чтобы наверху кучи остался этот их...

– Гитлер?

– Глупое имя...

– По словам Курта, англичане, до сих пор предпочитающие для Германии восстановление монархии, фыркают при имени «национального барабанщика».

– Фыркать имеет право тот, кто дает деньги.

– Они участвуют в деле.

– С совещательным голосом, Генри. – Ванденгейм рассмеялся и, вдруг сразу посерьезнев, сказал: – Кстати об англичанах: нужно перерезать канал для подачек, идущих в Германию от нефтяников во главе с Генри Гевелингом.

– А на какой размер наших вложений может рассчитывать Курт? – спросил Шрейбер.

Ванденгейм пожевал толстыми губами и неопределенно промямлил:

– Это зависит... – Он долго молчал, словно его мысль вдруг прервалась. – Одним словом, остановки за деньгами не будет, но на этот раз мы хотим реальных гарантий. Нам нужны не такие жалкие проценты, словно мы ростовщики...

– На этот раз будет пятьдесят один, – уверенно сказал Шрейбер.

– Пятьдесят один? – задумчиво переспросил Ванденгейм, посмотрев в потолок. – Мало! В глазах Шрейбера мелькнул испуг.

– Не хотите ли вы поменяться местами с самими немцами?! – воскликнул он.

Ванденгейм посмотрел на него в упор так, словно услышал глупость. Его голубые глаза сузились и снова посерели.

– Хочу.

– Джон! – не то испуганно, не то удивленно воскликнул Шрейбер.

– Да, да! Именно этого я и хочу, – повторил Ванденгейм.

– Оставить им десять процентов в их собственном деле?

– Да.

– Это невозможно, Джон, честное слово!

– Только при такой перспективе игра стоит свеч, – упрямо наклонив голову, проговорил Ванденгейм. – Мы можем оставить немцам ровно столько права распоряжаться, сколько укладывается в эти десять процентов. Ни на цент больше!

Шрейбер от волнения не заметил, как швырнул окурочек в бассейн. Его по-настоящему пугали планы старшего партнера. Их осуществление означало бы, что нити управления экономикой Рейнской области уйдут из рук европейских шрейберов. А именно они и были до сих пор единственными полновластными распорядителями дел там, из своих контор в Лондоне, Кельне и Гамбурге. Ведь и сам он, сидя в Штатах, был вынужден смотреть из рук «старших». А хотелось другого: не сможет ли он сам стать «старшим» при новом повороте дела?

– Всех их нужно спутать в один узел, – между тем говорил Джон. – Так, чтобы никогда и никто не мог его распутать... Ни при каких обстоятельствах! «ИГ» нужно связать с «Импириел кемикл», «Импириел кемикл» с Кюльманом, Кюльмана с Нобелем. И все под нашим контролем!

– Начнется война в Европе – и все полетит к черту, – в сомнении произнес Шрейбер.

– Войны в Европе не будет, – отрезал Джон. – Мы локализуем ее на востоке. Мы поможем Японии прыгнуть на спину России. Поддержим немцев в драке с большевиками по ту сторону Вислы. Но сначала займитесь этими немецкими дрязгами. – Он пошлепал губами. – Пусть-ка немцы кончают у себя с коммунистами. Решительно кончают. Иначе мы никогда не доберемся до сути...

– Доберемся, Джон, доберемся. – Шрейбер заискивающе-фамильярно похлопал Ванденгейма по спине. – Как только на карте появится общая русско-германская граница, дело будет сделано. Керзон не зря провел свою линию, а?

– И очень скоро мы к ней подберемся. Немцы пойдут на эту приманку.

На некоторое время между ними воцарилось молчание. Казались, каждый думал о своем. Потом, словно и не было делового разговора, Ванденгейм спросил:

– Вы уже завтракали?

– Да... Но, кажется, я способен начать сначала.

– Так пошли.

– Сколько же, по-вашему, для начала можно дать Курту?

– Столько, сколько нужно для восстановления всего военного комплекса в Германии.

При этом не из старья, а на совершенно новой, вполне современной производственной базе. Пригласите к завтраку Шахта: пусть пускает в ход этого вашего... – Джон щелкнул толстыми пальцами.

– Гитлера?

– Вот именно: Гитлера.

Это был первый и последний деловой разговор, который Джон Ванденгейм имел за все пять дней трансатлантического перехода. Все другие попытки заговорить с ним о делах он пресекал лаконическим: «В Европе!»

Это слово он обычно бросал через плечо, даже не оборачиваясь к секретарю, чтобы не отрываться от своего любимого занятия – чистки трубок. Перед ним стоял чемодан-шкаф, разделенный на сотни отделений, где покоились трубки, входившие в так называемый малый набор, следовавший за ним повсюду и составлявший часть его знаменитой коллекции трубок. В ней были представлены глиняные трубки инков и голландцев, фарфоровые – не то урыль-ники, не то пивные кружки – баварцев, турецкие чубуки, китайские трубочки-малютки для опия, огромные, как гобои, бамбуковые трубки полинезийцев, современные шедевры Дон-хилла и Петерсона – все, что было когда-либо изготовлено для сухой перегонки курева в легкие человека. В поместье Ванденгейма на Брайт-Айленде остался целый трубочный павильон, набитый трубками, и штат экспертов-трубковедов.

Джон Третий не знал большего удовольствия, чем сидеть за чисткой какого-нибудь уника из прекрасного, как окаменевший муар, верескового корня или из потемневшей от времени и никотина пенки.

Людам, близко знавшим Джона Третьего, было известно, что трубки являлись единственным предметом, не связанным с наживой, которым Ванденгейм способен был искренне интересоваться.

Поэтому для секретарей не было ничего удивительного в том, что в течение плавания «Фридриха» они получали это лаконическое «в Европе» независимо от того, какие имена они называли и о каких делах докладывали.

2

Единственным, ради кого Ванденгейм оторвался от возни со своими трубками, и то уже почти в виду Гамбурга, был худой краснолицый пассажир, вызванный секретарем Ванденгейма из каюты первого класса. В судовом списке он значился как Чарльз Друммонд, инженер и коммерсант. Но когда он вошел в салон Ванденгейма, тот указал ему на кресло и сказал:

– Капитан Паркер...

Это звучало скорее вопросом, чем приглашением.

Паркер молча кивнул головой и сел.

– Полковник предупредил вас, что вы мне понадобится?

– Да, сэр.

Ванденгейм бесцеремонно оглядел Паркера.

– По словам полковника, на вас можно положиться...

Паркер выдержал его взгляд и также посмотрел ему прямо в лицо, ничего не ответив.

Ванденгейм указал на сидевшего по другую сторону круглого стола человека и сказал:

– Доллас поговорит с вами.

И ушел.

Паркер посмотрел на Долласа. Он не раз слышал это имя – одного из двух совладельцев нью-йоркской адвокатской фирмы, ведшей дела крупнейших банковских корпораций, – но никогда его не видел.

Паркер иначе представлял себе Фостера Долласа. Он принял бы за злую шутку, если бы кто-нибудь описал ему этого дельца таким, каким он его видел теперь перед собою: маленький, щуплый, но с круглым животом, с головою, похожей на огурец, покрытый налетом рыжей ржавчины. Лицо его было словно вымочено и потом крепко выжато – все в складках дряблой кожи.

Доллас сидел совершенно неподвижно и не проронил ни слова, пока широкая спина Ванденгейма не исчезла за дверью. Тогда он заговорил быстро, выбрасывая четкие слова, отделенные друг от друга совершенно одинаковыми, как удары метронома, промежутками.

– Вы проинструктированы?

– Да, сэр.

Доллас расцепил пальцы сложенных на животе непомерно больших, покрытых пятнами, словно от экземы, рук и, опершись ими о подлокотники кресла, порывисто наклонился к Паркеру:

– Имеете собственность?

– Нет, сэр.

– Состоите акционером каких-нибудь компаний?

– Нет, сэр.

– Играете на бирже?

– Нет, сэр.

– Женаты?

– Нет, сэр.

– Имеете постоянную подругу?

– Нет, сэр.

– Родители?

– Умерли, сэр.

– Очень хорошо!

Доллас так же порывисто, как подался вперед, откинулся теперь к спинке кресла и снова сложил руки на животе.

На лице Паркера не было ни малейших следов раздражения или хотя бы удивления этим допросом. Казалось, он был способен так же спокойно, монотонно отвечать всю жизнь, о чем бы его ни вздумали спрашивать.

А Доллас, подумав, сказал:

– У вас еще все впереди.

– Надеюсь, сэр.

– Если будете хорошо работать, у вас будет много денег.

– Может быть, сэр.

– Об этом подумаем мы.

– Очень любезно, сэр.

– И сейчас там... – Доллас махнул куда-то в пространство, – вам понадобятся деньги.

– Возможно, сэр.

Доллас так же быстро и четко, действуя, как солдат, выполняющий приказы «по разделениям», вынул чековую книжку, перо и, написав чек, протянул его Паркеру.

– Банк Шрейбера, Гамбург.

– Слушаю, сэр.

– Вы не должны испытывать недостатка в деньгах.

– Благодарю, сэр.

– В Германии вы не увидите никого из нас.

– Понимаю, сэр.

– Обо всем, что я вам поручу, вы дадите мне знать письмом вот с таким знаком на конверте. Подписываться не надо.

Доллас торопливо нарисовал знак на корешке чека и тут же зачертил его.

– Прежде всего, вы свяжетесь с лицом, которое...

Паркер остановил его движением руки.

– Прошу, не здесь, – и он посмотрел на дверь.

– Я забыл, – сказал Доллас, – корабль немецкий.

– Даже если бы он был трижды американский.

Доллас набросил на плечи пальто и вышел на палубу. Паркер последовал за ним.

Там, склонившись рядом на поручни над видневшейся далеко внизу водой, они закончили разговор. Паркер ничего не записывал. Он только запомнил несколько адресов и единственное имя: Вильгельм фон Кроне.

От этого фон Кроне Паркер должен был получать сведения, интересующие Ванденгейма, но действовать при этом так, чтобы связь между Паркером и Кроне никогда и никем не могла быть обнаружена. Через этого же Кроне Паркеру предстояло передавать кое-что и тем руководящим немецким политикам, с которыми Ванденгейм найдет нужным вступить в секретные сношения через головы Шрейбера и Шахта.

Перед тем как уйти, Паркер спросил:

– Когда вы отбудете из Европы, я должен буду сопровождать вас, сэр?

– Нет.

– Я останусь в Европе?

– Да... Полковник хорошо говорил о вас... Мы найдем вам дело...

– Я рад, сэр.

– Молодежь страдает иногда превратным представлением о жизни, – отчеканил Доллас, словно диктуя параграф какого-то устава.

– Надеюсь, я правильно понимаю жизнь.

– Молодежь гибнет из-за своего честолюбия...

– На нашей службе, сэр?

– ...или идеи.

- У меня нет идей, сэр.
- Убеждения?
- Я не принадлежу ни к каким партиям, сэр.
- А в прошлом?
- Никогда не было, сэр.
- Студентом?
- Я увлекался спортом, сэр.

Доллас разжал руки, которыми придерживал полы накинутаго на плечи пальто, и сделал ими неопределенное движение.

- У вас были когда-нибудь друзья-коммунисты?
- Никогда, сэр.

Это была единственная фраза, которую Паркер произнес с особенным ударением.

– От них все беды! – Доллас повернул востроносое лицо к востоку, и его ноздри порывисто раздулись, словно он принюхивался. – Но рано или поздно мы с этим покончим.

– Я тоже так думаю, сэр.

– Правильно думаете, капитан. – И, помолчав, Доллас добавил: – Если вам понадобятся в Европе деньги, дадите знать.

– Благодарю, сэр.

Они еще несколько минут молча стояли у борта под защитой стеклянного козырька, по которому монотонно барабанил дождь.

Внизу чернела исхлестанная ударами косога дождя вода; она, журча, обтекала высокие борта «Фридриха Великого», медленно входившего в устье Эльбы. Дробясь в подернутом рябью глянце реки, все восемь рядов иллюминаторов отражались мутно-желтыми расплывающимися пятнами.

Доллас прервал молчание:

– Желаю удачи!

Он покровительственно похлопал Паркера по плечу. Тот молча снял шляпу.

Когда маленькая фигура Долласа скрылась в осветившемся на мгновение квадрате двери, Паркер вернулся в свою каюту и принялся укладывать чемодан, то и дело с интересом поглядывая в иллюминатор, за которым сквозь сетку дождя виднелись огни Гамбурга. Паркер еще никогда не бывал в Европе.

Правда, как говорят, в Европе все хуже, чем в Штатах, и уж, во всяком случае, мельче, чем в Штатах, но посмотреть новое никогда не вредит. Ездят же, в конце концов, даже американцы осматривать Йеллоустонский заповедник со всякого рода окаменелостями. Вероятно, и тут, в Европе, все эти мелочи – что-нибудь вроде окаменелостей. Но поскольку эти древности представляют интерес для его боссов, то и ему самому будет полезно с ними познакомиться.

Паркер подошел к иллюминатору. «Фридрих Великий» уже вошел в гамбургский порт и двигался теперь мимо череды причалов с ошвартованными у них пароходами. Паркер сразу же обратил внимание на то, что это вовсе не так уж мало, как должно быть все это в этой маленькой Европе. Да и не производит впечатления древности. Набережные порта обросли кранами, словно джунгли деревьями. Пакгаузы складов велики и, кажется, заполняют территорию, которая сделала бы честь даже Нью-Йорку.

Но, может быть, все это лишь тут, на берегу, где не может не сказываться великое влияние великой Америки, чей великий дух оживляет костенеющую Европу. Если верить врачам, нечто подобное происходит ведь и с человеческим организмом: ткани тела к старости костенеют, теряют эластичность, и человек может даже вовсе утратить подвижность – скажем, перестать ходить. Тогда необходимо оздоравливающее вливание чего-то, что способно разлагать соли старения. Такое вливание совершает сейчас Америка. Подкожное впрыскивание золотого раствора долларовых займов и прямых капиталовложений помогает Европе, и в частности Гер-

мании, бороться со склерозом, который готов превратить эту провинцию мира в заповедник, подобный Йеллоустону... Вполне возможно, что старушка Европа загнется от подобных вливаний, но до этого ему уже мало дела...

Однако смотрите-ка! «Фридрих» все идет и идет, а причалам еще и конца не видно. Видно, эти немцы научились-таки кое-чему у американцев! Интересно знать, когда они это успели?

Задетый за живое неожиданной грандиозностью порта, Паркер надел шляпу и пошел наверх, чтобы с палубы разобраться в неожиданном зрелище, представшем его взорам в гамбургском порту.

А высоко над его головою, на той палубе, где он только что побывал, под защитой того же стеклянного колпака, снова виднелась унылая фигура Долласа. Он зябко сжался, пряча голову в поднятый воротник пальто. Рядом с ним возвышалась массивная фигура Ванденгейма. Ветер раздувал огонек на конце зажатой в его зубах сигары.

– За каким дьяволом вы меня вытащили на этот сквозняк? – недовольно проворчал Ванденгейм.

– Мне всюду чудятся уши.

Ванденгейм невольно огляделся.

– Выкладывайте, что у вас там есть.

– Насчет ФДР, Джон.

– Франклин... Делано... Рузвельт... – едва слышно, словно в глубокой задумчивости, проговорил Ванденгейм. При этом глаза его утратили рассеянное выражение. Их взгляд стал тяжелым и почти угрожающе впился в лицо Долласа, удивительно напоминавшее в полутьме злую мордочку хорька.

– Говорите же... – понизив голос, повторил Ванденгейм. Он вынул изо рта сигару и наклонился к самому лицу Долласа. – Ну?..

Доллас еще глубже втянул голову в воротник пальто.

Ванденгейм едва разбирал слова:

– Мы можем... послать телеграмму... Герберту...

– Говеру?

– Пусть действует...

Огонек сигары, брошенной Ванденгеймом, исчез за бортом, и его большая рука тяжело опустилась на плечо Долласа:

– Тс-с!.. Вы!..

3

В комнате царила томительная тишина. Слышно было, как шелестят листы досье, которое гневно перелистывал Геринг, да его все учащавшееся дыхание.

За спиной Геринга стоял Вильгельм Кроне. На нем была черная форма эсэсовца с нашивками штурмбаннфюрера. В наружности Кроне не было ничего примечательного. Вероятно, в перечне примет, какие составляются в личных досье тайной полиции, против графы «лицо» стояли бы слова «чисто обыкновенное, без отметин». Нос его был тоже «обыкновенный», по сторонам его сидели такие же обыкновенные глаза – ни большие, ни маленькие, ни темные, ни светлые. Даже их окраска не сразу поддавалась определению, но, скорее всего, они были серыми, хотя временами, когда он поворачивался к свету, в них и можно было найти признаки легкой голубизны. Темно-русые волосы, не короткие, не длинные, были расчесаны на пробор, какой носят миллионы немцев по всей Германии, – обыкновенный ровный пробор. Человек, взглянувший на этот пробор, через минуту забывал, с какой стороны он расчесан, – с правой или с левой. Он не был ни особенно тщательным, ни сколько-нибудь небрежным.

Заметными в Кроне были только руки с длинными нервными пальцами. Такие пальцы бывают у шулеров, карманников и тонких садистов.

Одним словом, если не считать рук, весь Кроне с ног до головы был «обыкновенным, без особых примет».

Из-за спины Геринга Кроне видел его широкий, коротко стриженный затылок и розовую складку шеи, сползавшую на тугую белизну воротничка. Он видел, как по мере чтения досье шея министра делалась темней, как кровь прилиwała к ней. Наконец и затылок стал красным.

Кроне заглянул через плечо Геринга: толстые пальцы министра, вздрагивая от раздражения, держали за угол вшитую в досье листовку с призывом бороться за оправдание и освобождение обвиняемого в поджоге рейхстага болгарского коммуниста Димитрова.

Воззвание было подписано:

«От имени германского антифашистского пролетариата, от имени нашего заключенного вождя товарища Тельмана – Центральный комитет Коммунистической партии Германии».

По нетерпеливому движению головы Геринга Кроне понял, что тот снова перечитывает воззвание, и мысленно усмехнулся. Он не завидовал полицейскому чиновнику, стоявшему по другую сторону стола.

– «Именем Тельмана»? – негромко, с хрипотой, выдававшей сдерживаемый гнев, проговорил, ни к кому не обращаясь, Геринг.

Чиновник растерянно повел было глазами в сторону Кроне, но тотчас же снова уставился на министра.

– Послушайте, вы! – крикнул Геринг, ударяя пухлой ладонью по листовке. – Я вас спрашиваю: что значит «именем Тельмана»?

– Но... экселенц...

– Почему они подписывают свои листовки именем человека, который уже полгода сидит в тюрьме?

– Не... не знаю... экселенц...

– А кто знает?... Кто? – Геринг поднялся, опираясь руками о стол, и, ссутулив спину, смотрел на чиновника налившимися кровью глазами. – Может быть, они согласовывают с ним содержание этих воззваний?

– О, экселенц! – воскликнул чиновник. – Тельман содержится в абсолютной изоляции, на режиме... приговоренного к смерти.

– Какой прок в вашем режиме, если коммунисты не считают Тельмана похороненным?

– Но, смею сказать, экселенц, сделано все, чтобы тюрьма действительно стала для него могилой!.. Мы не снимаем с него наручников даже на время обеда, вопреки тюремному уставу.

– Плюю я на ваш устав! – взревел Геринг. – Вы с вашим уставом довели дело до того, что Димитров выходит на процесс так, как будто пробыл полгода в санатории, а не в тюрьме!

– Но вам же известно, экселенц, в каких условиях он содержался.

– Вы обязаны были вовремя дать мне знать, что этого недостаточно.

– Он был лишен прогулок... Наручники не снимались даже для писания заявлений следователю.

– Мало!

– Я назначал ему строгие наручники, экселенц! В них нельзя пошевелить руками. В них человек через месяц сходит с ума. Мы же не снимали их с Димитрова три месяца!..

Геринг сделал вид, что с досадою зажимает уши, потом, с безнадежностью махнув в сторону чиновника, сердито проговорил:

– Неужели вам мало тех примеров служебного рвения, которые столько раз показывали наши молодцы-штурмовики, когда арестованные совершали попытку к бегству?

– Но Тельман ни разу не пытался бежать.

– Так сделайте, чтобы попытался!

– Мы постараемся, экселенц.

Геринг швырнул папку чиновнику:

– Запомните: нам не нужны люди, которых надо учить!

Чиновник склонил голову:

– Экселенц...

– Если коммунисты будут иметь возможность действовать именем Тельмана, я спрошу с вас!.. – Геринг обернулся к Кроне: – Хоть бы вы взяли это дело на себя. Я уверен, вы придумали бы что-нибудь! – Он кивнул чиновнику: – Идите... Если вы окажетесь банкротом, я действительно поручу это дело господину фон Кроне. Он покажет вам, как нужно работать!

– Надеюсь справиться, экселенц. – Чиновник щелкнул каблуками.

– Послушайте, вы! – спохватился Геринг. – Не натворите чего-нибудь... неподобающего. Не то снова подымутся крики, что мы убийцы. На это можно было наплевать, пока вы действовали как штурмовик. Но теперь, когда вы чиновник правительства, нужно работать тонко и чисто.

– Я вас понял, экселенц!

Когда дверь за чиновником затворилась, Геринг встал, взял стоявшую на столе большую пеструю коробку и протянул ее Кроне.

– Курите! Эти папиросы прислал мне болгарский царь. Наверное, хороши!.. – Он прошелся у стола. – Если бы вы знали, милый Кроне, как трудно работать, когда узда приличий заставляет думать о том, что можно и чего нельзя.

– Да, это очень стеснительно, экселенц.

Геринг шумно вздохнул:

– Если бы я знал наверняка, что думают по этому поводу по ту сторону канала!

– Вас беспокоят англичане? – Кроне пренебрежительно скривил губы.

– Если бы вы были на моем месте, Кроне, они беспокоили бы и вас. Насчет американцев-то я спокоен, – уверенно проговорил Геринг. – Они достаточно деловые люди, чтобы понимать: до тех пор, пока не уничтожены живые носители коммунистической идеи, янки не могут быть спокойны за деньги, вкладываемые в оздоровление нашей промышленности...

– Вы совершенно правы, экселенц, – проговорил Кроне. – Янки трезвые люди... Впрочем, говоря откровенно, я думаю, что и англичане достаточно реалисты.

– Знаете что? – Геринг сделал глубокую затяжку. – Если бы вы могли выяснить, что думают на этот счет англичане...

– Думают или подумают?

Геринг расхохотался:

– Вы золотой человек, Кроне, сущее золото! Если бы у нас было побольше таких голов...

Попомните мое слово: вы сделаете карьеру... держитесь около меня.

– Меньше всего я думаю о карьере, экселенц.

– Ого! Такие ответы не часто приходится слышать от наших людей! – Возвращаясь к прежней мысли, Геринг вдруг спросил: – А что же, по-вашему, делать с Тельманом? Печать разных стран проявляет слишком много интереса к его фигуре.

– И чем дальше, тем этот интерес делается назойливей, – заметил Кроне.

– Если не пресечь его источник?..

Геринг остановился напротив собеседника, широко расставив толстые ноги и заложив руки за спину. Наклонив голову, он выжидательно смотрел на Кроне.

Тот заговорил негромко:

– Подумайте, экселенц, какое впечатление произвело бы на мир... отречение Тельмана!

Геринг вынул изо рта папиросу. Веко над его левым глазом нервно дергалось.

– Отречение... Тельмана?

– Что же невероятного, экселенц? – Кроне пожал плечами. – Вы же вполне удачно проделали это с Торглером.

– Торглер!.. Но чего вы рассчитываете добиться от Тельмана?

– Разве вы не намерены после процесса Димитрова организовать процесс Тельмана?

Разве вам не нужно доказать, что коммунисты замыслили государственный переворот и работали на Москву?

– Конечно!

– Так пусть же Тельман предоставит вам возможность защищать его от этого обвинения.

Пусть он только не мешает нам самим доказать, что вся его борьба с нами была ошибкой. И следующим его неизбежным шагом будет приход к нам!

– Тельман?.. – с сомнением покачал головой Геринг.

– Разве не таков был путь многих социал-демократов? Да что говорить, когда перед нами даже пример бывших коммунистов: Рут Фишер и Маслова в Германии, Дорио и Деа во Франции? Наконец Троцкий!

– Честное слово, это мне нравится... хотя и кажется почти неисполнимым.

– Вы сами должны побывать у него.

– Я?.. У него?..

– Вы!

Геринг вернулся к своему креслу и грузно опустился в него.

– Вы отдаете себе отчет, Кроне: я – в камере Тельмана?!

Геринг долго смотрел на Кроне, подперев голову кулаком.

– Из этого ничего не выйдет, Кроне, – уныло проговорил он наконец.

– Посмотрим! Тельману следует показать, что будет, если он не внемлет вашему голосу.

Подземная камера без света, в которой можно только лежать, неблестящая перспектива.

– Мы уже пробовали. Он объявил голодовку.

– Примените искусственное питание, но заставьте его почувствовать, что такое могила.

Пригрозите продержать его на искусственном питании столько времени, сколько человек может выжить без света. Посмотрим, откажется ли он после этого слушать вас!

Мутные глаза Геринга оживились.

– Пожалуй, Кроне, это крепче того, что мы делали до сих пор... Но пока он выдерживал все. Из чего они сделаны, эти коммунисты?.. Они не такие же люди, как мы, Кроне.

– Другие, экселенц...

– Другие?.. Пока я буду занят на лейпцигском процессе, его заставят до конца понять, что значит быть похороненным заживо! Я сломя его! Сломя, чего бы это ни стоило!..

Геринг сжал кулак и хотел ударить по столу, но движение вышло вялым, лишенным силы. Голова его стала клониться на грудь. Он поднял на Кроне помутившийся взгляд.

– Извините... я... на минуту...

Он с усилием встал и, волоча ноги, поплелся к маленькой двери в дальней стене кабинета.

Кроне сквозь дым папиросы посмотрел на широкую ссутулившуюся спину Геринга. Закинув ногу на ногу, он пустил к потолку несколько правильных колец дыма и, прищурившись, следил за тем, как кольца поднимались, делались все шире, расплывчатей, потом тонкой стремительной струйкой пронзил сразу несколько колец. Еще мгновение полюбовался тем, как они расходятся в неподвижном воздухе, и ленивым движением руки разогнал дым.

Его взгляд остановился на маленькой двери, за которой скрылся Геринг. Почему-то с особенной яркостью стояла перед глазами его спина: ссутулившаяся, во внезапно обвисшем, ставшем непомерно широким, как пустой мешок, мундире... Странно, как это раньше Кроне не приходило в голову: ведь сама судьба дает ему в руки могучее средство воздействия на психику Геринга. Разве нет на свете каких-нибудь более совершенных наркотиков, чем кокаин, которым злоупотребляет «наци № 2»?.. Разве нельзя прибрать его к рукам, дав ему нечто, от чего наркоману так же трудно отказаться, как от опиума человеку, втянувшемуся в этот порок?..

Эта неожиданная мысль так увлекла Кроне, что он даже забыл о папиросе, и столбик пепла рос на ней, грозя вот-вот обвалиться на брюки Кроне. Мысль о том, что нужно немедленно написать кое-кому, потребовать присылки самого сильного и затягивающего наркотика, какой только существует, давать этот наркотик Герингу такими дозами, чтобы постоянно держать его в зависимости от себя, не открывая ему ни названия, ни источника яда... Да, это может оказаться более крепкой цепью для министра, чем даже золото, которое он так любит, но которое ему может дать всякий, у кого его больше, чем у тех, на кого работает Кроне...

Когда Геринг вернулся, его поступь снова была твердой. Он держался прямо, его движения были театрально широкими.

Хотя Геринг понимал, что Кроне отлично знает, зачем он уходил, тем не менее он сделал вид, будто тот ничего знать не может:

– Заработался я, милый Кроне, начались головокружения... переутомление... И так?..

– Еще одну минуту, экселенц. Не кажется ли вам, что с Беллом пора кончать?

Геринг порывисто откинулся в кресле.

– Вы с ума, сошли!..

– Ничуть.

– Белл – моя личная связь с Гевелингом.

Кроне мог бы ответить, что он знает все: и то, что подозрительный авантюрист Белл нужен Герингу не столько в качестве «связи» с английским нефтяным магнатом Гевелингом, сколько в качестве источника получения средств на личные расходы генерала, выходящие за пределы государственных ассигнований; отлично знает, что именно он, Белл, был организатором огромного мошенничества с подделкой советских червонцев, которое должно было сделать его участников миллионерами, но совсем некстати было раскрыто, знал многое другое из темного прошлого и настоящего господина министра внутренних дел Пруссии. Но вместо всего этого он только скромно сказал:

– Знаю.

– Так какого же черта!

– Эта линия связи становится опасной.

– Я не имею другой.

– Если Гевелингу будет нужно, он найдет ее и без Белла.

Всегда самоуверенное лицо Геринга отражало сейчас растерянность.

– Это ужасно, Кроне... Белл вполне мой человек.

– Вы уверены? – многозначительно произнес Кроне.

Геринг встревоженно подался корпусом к собеседнику:

– Что-нибудь узнали?

Но Кроне уклончиво ответил вопросом на вопрос:

– Что он знает о поджоге?

Геринг потер висок, как бы вспоминая:

– Вы думаете, он?..

Кроне кивнул:

– Болтает лишнее!

Геринг снова встал из-за стола и в волнении прошелся.

– Тем не менее он может мне еще понадобиться.

– Но значительно раньше он наделает вам уйму хлопот.

Геринг вскинул на собеседника взгляд, в котором можно было прочесть тревогу, смешанную с неприязнью.

– Что же вы предлагаете? – нехотя спросил он.

Кроне пожал плечами, как бы желая сказать: «Словно вы сами не знаете».

Геринг взял в руки лежавший на столе хрустальный шар и в задумчивости погладил его поверхность. В хрустале отразилось его лицо, растянутое в стороны так, что оно утратило человеческий облик. Несколько мгновений Геринг удивленно смотрел на этого урода с непомерно раздувшимися щеками, потом покосился на Кроне и с отвращением отодвинул шар.

– Делайте. Только... не нашими руками.

– Разумеется.

По мере того как беседа удалялась от официальных тем, в тоне Кроне исчезали нотки почтительности.

– Все? – помолчав, спросил Геринг.

– Еще одно небольшое дельце: вам не следует принимать у себя этого «прорицателя»

Гануссена.

Геринг развел руками и поднял плечи.

– Честное слово, Кроне, вы скоро создадите вокруг меня пустоту. Чем вам помешал Гануссен?

– Он пророчесствует только в тех случаях, когда имеет надежную предварительную информацию.

Геринг рассмеялся:

– Тем вернее его предсказания!

– Было бы лучше, если бы они не так точно сбывались... Вспомните, как он предсказал пожар рейхстага и как это использовали наши враги.

– Да, вышло не совсем хорошо.

– А если я вам скажу, что теперь он предсказывает казнь болгарских коммунистов?..

– Он недалек от истины.

– Но если учесть, что международные круги и тут свяжут его с вами?

– Это действительно лишнее... Пожалуй, спиритические сеансы Гануссена пора прекратить.

– Вот и все мои дела, – сказал Кроне.

Он поднялся, намереваясь откланяться, но Геринг его остановил.

– Пойдите-ка сюда, Кроне! – Геринг с видом заговорщика поманил Кроне к стоявшей в нише витрине с альбомами, на крышках которых были изображены гербы прусских городов. Это были подарки магистратов своему министру внутренних дел. Геринг отпер горку и показал

Кроне на огромный альбом с художественно выполненной на фарфоровом переплете эмблемой Любека.

– Ну-ка, берите!

Кроне не без труда вынул из витрины тяжелый альбом, замкнутый массивною золотою скобой, которую Геринг отпер своим ключом.

– Ну-ка, ну-ка! – торопил он Кроне, но видя, что тот медлит, сам откинул крышку. Вместо панорамы Любека, которую ожидал увидеть Кроне, ему предстала порнографическая картина.

Геринг с хриплым смехом переворачивал толстый картон альбомных листов.

– Каково?.. А вы ведь, наверное, думали, что и это – «почтительнейшее» подношение! Нет, мои молодцы взяли это при аресте бургомистра, которому было больше семидесяти лет, а?!

Геринг водрузил альбом на место и тщательно замкнул витрину.

– Каково, а! – повторил он, протягивая на прощание руку. Кроне почувствовал в своей ладони горячие, вспотевшие пальцы.

На месте исчезнувшего за дверью Кроне бесшумно выросла фигура адъютанта.

– Свидетели по делу о пожаре, экселенц, – доложил он, подавая список.

Под первым номером значилось: «Профессор доктор Поссе. Эксперт по пожарам».

Геринг исподлобья уставился на несмело вошедшего тощего старика и, не здороваясь, усадил его в кресло повелительным движением руки. Поссе в страхе глядел на министра; его руки лежали на коленях, словно силясь остановить дрожание складок отутюженных полосатых брюк. Геринг взял одну из лежавших на столе папок. В ней были фотокопии с черновых набросков, которые делал для себя Димитров, готовясь к процессу. Геринг нашел список свидетелей обвинения с пометками Димитрова. Это были лаконичные, но исчерпывающие характеристики.

«Леберман – вор и морфинист; Кунцак – вор и преступник против нравственности; Вилле – фальшивомонетчик; Вебер – взяточник; Гроге – психопат...»

Геринг посмотрел на сидевшего напротив него старика и подумал: «Интересно, что написал бы Димитров об этом...»

– На допросе ван дер Люббе показал, что он бегал по залу рейхстага с куском горящей занавески. Может ли это иметь значение? – спросил Геринг у Поссе.

– Никакого.

– По-вашему, занавеской нельзя поджечь дом? – с нескрываемым неудовольствием сказал Геринг.

– Поджечь можно даже спичкой! Но поджечь – не значит сжечь, – сказал старик и, подумав, добавил: – Вообще, ход мыслей ван дер Люббе мне непонятен. Ведь если бы он действительно хотел устроить пожар, то не стоял бы с факелом на балюстраде, не бегал бы с ним мимо окон и вообще не стал бы вести себя так, словно хотел привлечь к себе всеобщее внимание, и в первую очередь, внимание пожарных. Одним словом... мне кажется...

Поссе хотел сказать, что, по его мнению, ван дер Люббе вел себя, как последний идиот, что кто-то подучил его сделать все, чтобы привлечь внимание публики к залу рейхстага, которого он не мог поджечь. Но под устремленным на него тяжелым взглядом Геринга старик говорил все медленней, тише и наконец умолк совсем.

– Может быть, – насмешливо проговорил Геринг, – вы и вообще не уверены в том, что ван дер Люббе хотел поджечь рейхстаг?

– Совершенно верно.

Геринг захлопнул папку, и его широкая мясистая ладонь тяжело легла на обложку.

– Вы плохой эксперт, господин Поссе... – в голосе министра снова появилась хрипота, как при разговоре с тюремным чиновником, – предлагаю вам: не позже завтрашнего дня пред-

ставить точное описание действий, какие, по вашему мнению, должен был бы совершить ван дер Люббе, чтобы поджечь рейхстаг один, без помощников.

– Экселенц... – попробовал было возразить старик, но Геринг перебил:

– Да не забудьте, что все предварительные приготовления были сделаны тремя болгарами и Торглером: горючие вещества и все такое...

– Господин министр!..

Геринг не слушал:

– Завтра в двенадцать вы представите мне записку на утверждение. Потом я прикажу вас допустить к заключенному ван дер Люббе, чтобы вы могли его проинструктировать.

– Господин министр... – заикаясь, в отчаянии пролепетал Поссе, но Геринг даже не остановился.

– Я делаю вас ответственным за эту часть показаний ван дер Люббе.

Поссе привалился к спинке кресла и закрыл глаза. Геринг нажал звонок.

– Следующего!

Старика под руки вывели из кабинета.

Геринг принял суровый вид, готовясь встретить очередного свидетеля, но в кабинет поспешно вошел адъютант:

– Господин рейхсминистр Гесс!

Гесс появился, не ожидая приглашения, и жестом отослал адъютанта. Бегающий взгляд его маленьких, глубоко запавших глаз настороженно, но как бы мимоходом, остановился на Геринге, по хмурому выражению лица которого нельзя было сказать, что появление Гесса доставляет ему удовольствие.

Он выжидательно молчал.

Гессу пришлось заговорить первым:

– Фюреру не нравится возня, которую вы с Геббельсом затеяли вокруг болгар.

– Не нравится фюреру... или вам? – иронически спросил Геринг.

Гесс повторил с ударением:

– Фюреру не нравится...

Но Геринг не дал ему договорить и раздраженно крикнул:

– Вечно вам что-нибудь не нравится!

Гесс презрительно усмехнулся:

– Где ваша былая хватка, Геринг?

Геринг молча вытянул руку, и его кулак угрожающе сжался. Но на Гесса этот жест не произвел никакого впечатления.

– Поймите: на процессе мы должны схватить за горло не этих болгар, не Торглера...

Геринг, хвастливо ударив себя по карману, перебил:

– Этот у меня уже вот здесь!

– ...Не Торглера, а коммунистическую партию! И не только коммунистов Германии, а всех, во всей Европе, во всем мире! – Гесс угрожающе надвинулся на Геринга. – Фюрер вам не простит, если вы провалите процесс!

Геринг обеими руками уперся в стол и оттолкнулся от него вместе с креслом.

– О чем вы думали раньше, когда я предлагал перестрелять их всех, прежде чем они улизнули в подполье?!

Но Гесс внезапно переменял тон и спокойным, неторопливым голосом проговорил:

– Я привез субъекта, которого вы сами давно могли вовлечь в это дело.

Геринг отер лоб, покрывшийся крупными каплями пота.

– Кого еще? – процедил он сквозь зубы.

– Помните Карнаве?

– Депутат рейхстага?

– Бывший коммунист. Суд может его допросить в качестве свидетеля. Публика поверит тому, что он знает программу и систему борьбы коммунистов.

– Таких типов у меня самого сколько угодно, – похвастал Геринг.

– Погодите, – остановил его Гесс. – Александр говорил с Седовым. Троцкий ручается за Карнаве. Он покажет под присягой, что коммунисты замыслили вооруженный переворот. Покажет, будто поджоги и покушения на руководителей германского государства стояли в их плане.

– Вы... говорили уже с Карнаве? – недоверчиво спросил Геринг.

– Да.

– И он действительно согласен рассказать на процессе все это?..

– Все, что мы прикажем!

Геринг прошелся по кабинету, потирая висок.

– Давайте его сюда!

4

Выйдя из подземки у Штеттинского вокзала, Рупп остановился. Он не знал, куда повернуть – налево или направо. Он сделал вид, будто рассматривает журналы, развешанные на газетном киоске, и подождал, пока мимо него не прошел Лемке. Пропустив его настолько, чтобы не потерять в толпе, Рупп последовал за ним.

Лемке повернул направо, дошел до угла и свернул в узкую Кессельштрассе. Это удивило Руппа. Он знал, что их цель – тюрьма Старый Моабит. Туда короче всего было бы пройти по Инвалиденштрассе, до уголовного суда. Эту дорогу Рупп помнил по тому времени, когда ему приходилось ходить сюда с матерью, пытавшейся узнать судьбу его исчезнувшего отца. Это были еще времена Брюнинга и Папена. С тех пор тут, кажется, ничего не изменилось: та же прямая стрела улицы, те же шупо на перекрестках, тот же редкий поток автомобилей и пешеходов. Разве только вот штурмовики перестали ходить посреди улиц, топоча сапожищами и горланя песни. Они теперь смешались с толпою. Впрочем, от этого они не стали менее ненавистны Руппу. Он был убежден, что именно они, штурмовики, истинные виновники гибели его отца – берлинского рабочего-металлиста, примкнувшего еще в 1918 году к спартаковцам.

Рупп все время боялся, что потеряет Лемке из виду, но, повернув за угол Кессельштрассе, к своей радости, сразу же увидел его неторопливо шагающим к Колонне Инвалидов. Здесь было меньше прохожих, и Рупп, следуя наставлениям Лемке, отстал еще немного. Он ускорил шаги только тогда, когда Лемке, обойдя колонну, пересек улицу Шарнгорста и, к еще большему удивлению Руппа, вошел в ворота кладбища.

Лемке не остановился в воротах у будки привратника-инвалида, на ходу проверяя, нет ли за ним наблюдения. Неторопливыми шагами он углубился в лабиринт кладбищенских аллей. Там он наконец остановился и сделал Руппу знак подойти.

– Ну что, малыш, – ласково сказал он, кладя руку на плечо юноши. – Не трусишь?

Рупп ответил укоризненным взглядом.

Лемке обнял его за плечи, и они пошли дальше вместе.

Рупп вслух читал надписи на памятниках. Многие имена были ему знакомы по учебникам истории. Одни хорошо – как Шарнгорст или герой всех гимназистов воздушный ас Рихтгофен, другие – смутно, как Шлиффен.

Но именно около его-то памятника Лемке и остановился.

– Ты немец, Рупп?

– Конечно!

– А что ты знаешь о Шлиффене? Почему ему воздвигли памятник?

Рупп смутился. Он не знал.

– Памятник Шлиффену воздвигли немецкие генералы. Он показал им путь, которым можно ворваться во Францию... Так же шайка разбойников могла бы поставить памятник наводчику, который отыскал в доме соседа незапертую форточку.

Рупп смотрел на длинное лицо фельдмаршала-наводчика. Большие пролысины надо лбом, тяжелые мешки нижних век и мертвый взгляд бронзовых глаз. Вокруг рта бронза застыла брезгливою складкой. Короткий подбородок был заносчиво вздернут над непомерно высоким воротником.

– Запоминай их лица, мальчуган, – сказал Лемке. – В крови, пролитой этими людьми, в крови, которую еще прольют их ученики, следуя примеру учителей, можно было бы потопить Берлин!..

Они вышли к набережной канала. Лемке опустился на скамью и некоторое время молча созерцал поверхность воды.

На том берегу канала виднелась подернутая серою осеннею мглою верфь, левее шпили музея терялись в ползущем над городом сером тумане. За его пеленою дом казался огромным и почти черным; его очертания были словно смытые контуры рисунка.

Лемке спросил:

– Ты любишь Берлин?

Рупп ответил не сразу:

– Почему ты спрашиваешь?

– Ты услышишь иногда, что наш Берлин – хмурая каменная громада, безвкусная смесь казарм и памятников курфюрстам, город-выскочка среди почтенных, убеленных славными сединами европейских столиц. Берлин называют гнездом милитаризма и международного разбоя.

Рупп нагнулся, чтобы заглянуть в лицо Лемке. Тот говорил, продолжая глядеть в воду канала:

– К сожалению, некоторые немцы сделали слишком много для того, чтобы это считать правдой. Но мы знаем, что это не вся правда о Берлине. Кроме Замка и Бранденбургских ворот, кроме Тиргартена с особняками миллионеров и аллеи Победы, в Берлине есть еще Веддинг, и Нейкельн, и Панков с миллионами таких немцев, как мы с тобой, как наши отцы и наши деды. И Сименсштадт, построенный руками таких же, как мы, где работают тысячи таких, как мы. Кроме памятников генералам, в Берлине стоят памятники Гельмгольцу и Шиллеру, Гете и Коху. Это другой Берлин, с его людьми и домами, с заводами и памятниками, с его садами и тихими кладбищами, на которых лежат наши отцы... Этот Берлин наш. – И участливо добавил: – И таким пропавшим без вести, как твой отец, мы поставим памятник. Большой памятник жертвам гитлеровской тирании!

Рупп вздохнул.

– Ты сомневаешься? – спросил Лемке.

– Нет, но...

– Верь мне: это будет!

– Ты же знаешь, Франц, я тебе верю, но... правильно ли это – увековечивать могилы, даже такие, о которых ты говоришь?

– Разве мы с тобою не знаем могил, которые достойны того, чтобы сохраниться навеки? Есть могилы, которые человечество станет оберегать тем тщательнее, чем выше будет становиться культура, чем больше вширь по белу свету и чем дальше в глубину народных масс будет проникать свет коммунизма. Разве уже сейчас мы не знаем двух таких могил, близких сердцу людей, разбросанных по всему земному шару? Вспомни могилу на Хайгетском кладбище в Лондоне. А мавзолей на Красной площади в Москве? Я напому тебе слова Энгельса, которыми он навеки проводил своего друга и старшего соратника: «14 марта перестал мыслить величайший из современных мыслителей...»

– Да, – горячо воскликнул Рупп, – такого успеха, какого достигло воплощение его идей в Советском Союзе, не знал еще ни один мыслитель до него!

– Это верно. Именно там, в России, оказались продолжатели его дела. Там дело Маркса в верных руках. Там его идеи развиваются, находят воплощение в жизни, оттуда они вернутся и сюда, на родину великого учителя человечества, придут и туда, где покоится его прах... Скорей бы! Если бы был свободен Тэдди. Ты помнишь Тэдди, малыш?

– Он только однажды ночевал у нас. Я тогда и не знал, что это Тельман. – Помолчав, Рупп в задумчивости продолжал: – Должен тебе признаться, Франц, что и теперь еще я как-то не до конца поверил тому, что тот простой рабочий, такой же, как мой отец, простой гамбургский рабочий Тэдди, и вот этот огромный человек, секретарь ЦК нашей партии...

– Нашей?.. – с улыбкой прервал Лемке.

– Да, нашей. Именно нашей! – твердо повторил юноша. – Позволь мне уже так говорить... Я хотел сказать: мне иногда просто не верится, что тот наш Тэдди и этот товарищ Тельман – один и тот же человек.

– Именно в этом его сила, Рупп: рабочий и руководитель.

– Руководитель... большое слово!

– Отличное слово, мальчик. Сила этого слова в том, кто дарует человеку это высокое звание. Сила этого слова в народе. Если оно не получено от народа, за него нельзя дать и пфеннига. Разве мало было и сидевших на настоящих тронах и воображавших себя королями в сумасшедших домах, которые одинаково безуспешно именовали себя вождями своих народов? Одни из них кончали смиренной рубашкой, другие – эшафотом. Народ не хочет иметь дела ни с королями, ни с безумцами. Он хочет иметь своих руководителей. Только их он признает, их слушает, им верит.

– Я думаю, Франц, что и на таких подлых безумцев, как Гитлер и Муссолини, народ наденет когда-нибудь смиренную рубашку.

– На них и на всех им подобных, нынешних и будущих. И не рубашку, дружище, а петлю!

– Только бы эти негодяи не успели истребить всех борцов за свободу.

Франц рассмеялся:

– Можешь не бояться. При всем кажущемся могуществе этих правителей они только жалкие злобствующие пигмеи. Они больше всего на свете боятся народа и его учителей.

– Слишком дорого эти пигмеи обходятся народам.

– В Германии есть такие люди, как Тельман. Есть и будут, пока жив наш немецкий народ. А он не умрет. Перед ним широкая дорога вперед, в будущее, по следам русских. Наш народ переживет гитлеров. Переживет! Этому учит нас партия.

Они помолчали. Рупп мечтательно проговорил:

– Поскорей бы мне подрасти! Так хочется быть настоящим членом партии!

Это прозвучало совсем по-мальчишески.

– Комсомольцы – наши младшие братья, – утешил Лемке. – Можешь гордиться этим званием!

– Хотелось бы стать партийным функционером.

– Это не дается как почетный титул.

– Я заслужу!

– Его зарабатывают не речами, а у станка, среди таких же рабочих, как мы с тобой.

– А ты долго был простым рабочим, Франц?

– Был и остался, сынок.

– Я хотел сказать: ты долго пробыл у станка, еще не зная, что будешь функционером?

– Да... постоял!

– Счастливеец! – со вздохом сказал Рупп. – Не каждый начинает свой путь рядом с такими, как Тэдди. Тебе чертовски повезло.

– Ты прав, мальчик... – Франц запнулся, словно какой-то клубок в горле помешал ему говорить, – но только впоследствии начинаешь понимать, какое значение в твоей жизни имело то, что такой человек, как Тельман, поставил тебя на рельсы... Бывало, он забегал к нам в мастерские гамбургского порта и давал задание с таким видом, будто рассказывал забавную историю. У нас не было тогда даже конспиративной квартиры, а в каждой пивной сидело по шпик... И вот, бывало, слушаешь Тельмана, а с фрезы нельзя глаз спустить... Он сам всегда говорил нам: никаких промахов в работе, чтобы комар носу не подточил; чем чище твоя рабочая книжка, тем лучше ты законспирирован!

– И я буду хорошо работать, Франц! Пока партия сама не скажет: а ну, Рупп, ты нам нужен!

– Если бы твой отец слышал эти слова! Он гордился бы тобой.

– Я верю тому, что он еще узнает!

– Если только он жив... Ты и твои товарищи откроете перед ним двери лагеря... Люби немецкий народ, Рупп, верь в его силы и совесть.

– Я знаю, не все же немцы – наци.

– Даже если наци будет вдесятеро больше, и тогда, Рупп, мы будем бороться и верить в победу. – Лемке крепко обнял юношу за плечи и прижал к себе. – Бороться до конца, как учил нас Тэдди. И, можешь мне поверить, победа будет нашей!

Рупп обвел быстрым движением руки расстилавшуюся перед ним панораму города.

– Клянусь: я буду бороться!

Лемке пожал руку юноши.

– Посиди. Я сейчас вернусь.

Он неспеша скрылся за поворотом аллеи. С серого гранита одного из надгробий на него смотрел бронзовый горельеф грубой фельдфебельской маски. Под маской стояло: «Фельдмаршал Эйхгорн погиб в 1918 году в Киеве (от бомбы большевиков)». Лемке усмехнулся. По странной игре судьбы именно в надгробии этого палача Украины нашелся тайник, служивший одним из передаточных пунктов для нелегальной почты коммунистов-подпольщиков Берлина.

Лемке быстро огляделся, достал из щели между бронзовой доской и гранитом маленький пакет и с независимым видом праздного гуляки пошел прочь.

Лишь убедившись в том, что его никто не может видеть, даже Рупп, Лемке развернул пакетик и достал его содержимое – две обыкновенные пачки сигарет. Он внимательно осмотрел их и одну пачку бережно завернул снова, а из другой высыпал сигареты в карман, а обертку, подняв к глазам, стал разглядывать на свет, то и дело косясь по сторонам. Потом тщательно разорвал тонкий картон на мелкие куски.

После этого он, не оглядываясь, пошел обратно к Руппу.

Осень в том году была ранняя. Деревья давно пожелтели, и листва их, несмотря на усилия сторожей, густо устилала дорожки кладбища. Лемке с удовольствием прислушивался к мягкому шуршанию листьев под ногами. От этого умиротворяющего шелеста, от податливости, с которой каблук погружался во влажный песок дорожки, на душе становилось спокойно. Минутами даже забывалось, зачем он пришел на кладбище, забывалось о возможной слежке. Впрочем, Лемке был уверен, что возможность слежки почти исключена: положение его было вполне легально и надежно законспирировано. Его незаметная фигура не должна была служить предметом особого внимания тайной государственной полиции. Он мог спокойно участвовать в передаче Тельману вестей о том, что весь прогрессивный мир, все свободомыслящее человечество борется за его освобождение.

Уже больше полугода вся прогрессивная пресса мира едва ли не ежедневно уделяла внимание аресту и заточению Тельмана. Больше полугода немецкие рабочие испещряли вагоны, заборы, стены домов и фабричные трубы Берлина, Гамбурга, Бохума, Дюссельдорфа и других промышленных центров Германии настойчивым кличем: «Свободу Тельману!»

«Свободу Тельману!» – кричали листовки германской компартии.

«Свободу Тельману!» – провозглашал на весь мир передатчик «Свободная Германия».

«Свободу Тельману!» – так начиналось каждое сообщение международного объединения юристов.

«Свободу Тельману!» – говорилось в каждом листке, который летел в немецкие машины, участвовавшие в международных автомобильных гонках.

«Свободу Тельману!» – появлялось за ночь на бортах немецких пароходов, заходивших в иностранные порты. Утром капитаны этих судов сами наблюдали за тем, как матросы соскабливали засохшую нитрокраску так, чтобы не оставалось следов.

«Свободу Тельману!» – писали изо дня в день Драйзер в Америке, Нексе – в Дании, Манн – в Англии, писатели-антифашисты Европы, Америки, Азии.

Во Франции Ромен Роллан писал: «Тельман для нас не только мужественный, честный, искренний человек, каким он всегда был. Он стал для нас символом еще подавленного, но непобедимого пролетариата – победителя завтрашнего дня. Он знамя интернациональной борьбы».

Да, так оно и было: имя Тельмана стало знаменем борьбы за свободу народов, за права человека, против фашизма и насилия.

В СССР Горький писал: «Позор для Германии то, что вождь германских рабочих Эрнст Тельман содержится в тюрьме. Я надеюсь, что представители культуры, науки и искусства во всем мире поднимут свой голос для протеста против бесчеловечного обращения с Тельманом, против подготовки юридического убийства».

Не было на свете языка, на котором Гитлер и Геббельс не получали бы протестов против ареста Тельмана. Не было языка, на котором в берлинскую тюрьму Старый Моабит не пришел бы на имя Тельмана призыв к бодрости.

Вот уже полгода, как Старый Моабит стал не менее знаменит, чем Бастилия. И вот уже несколько месяцев, как печальная слава Старого Моабита удвоилась: мир узнал, что в его стены гестапо перевело еще одного узника. Его имя также изо дня в день повторялось левой прессой мира; его имя с ненавистью произносили фашисты. Это имя принадлежало болгарскому коммунисту, ставшему теперь символом борьбы за честь всего передового человечества, синонимом железной стойкости и верности делу рабочего класса. Это было имя Георгия Димитрова.

Еще много месяцев назад, сразу после пожара рейхстага, фашистская юстиция намеревалась в ускоренном темпе провести процесс. Нацисты хотели доказать виновность коммунистов в поджоге рейхстага, хотели свести на нет неопровержимые доказательства того, что поджог был организован штурмовиками Геринга по приказу Гитлера.

Но уже больше полугодом следователи и прокуроры напрасно пытались сломить волю Димитрова, заставить его отречься от правды, заставить его принять вину на себя и на свою партию.

Из письма, которое Лемке должен был переправить сквозь стены Старого Моабита, Тельман узнает, что партия жива, что мир помнит о нем, борется за него; узнает, что слова «свобода» и «справедливость» не забыты человечеством и что его собственное имя, как и имя заключенного в тех же стенах Димитрова, стало символом борьбы за правду. Тельман узнает о стойкости Димитрова.

Лемке вернулся к скамье и отдал Руппу пачку с сигаретами.

– Пойдем, малыш?

– Я чего-то недопонимаю... – неуверенно проговорил Рупп и умолк в нерешительности.

– Смелей!

Юноша казался озадаченным.

– Я еще не слышал хорошего слова о наших социал-демократах, – сказал он, – а ведь и Маркс, и Ленин в свое время высоко ценили немецкую социал-демократию... – И поспешно добавил: – Может быть, вопрос кажется тебе очень наивным, но, честное слово, я...

Лемке дружески похлопал его по плечу и с улыбкой сказал:

– Вопрос вовсе уже не так наивен, дружище! По пути великих учителей рабочего класса пошли далеко не все их ученики, – в верхушке социал-демократии было больше предателей рабочего дела, чем борцов за него. Поэтому лучшие люди, такие, как Цеткин, как младший Либкнехт, как Люксембург, как Меринг, в конце концов ушли из ее рядов. Они пошли за Лениным. За ними пошли и мы, немецкие рабочие, во главе с Тэдди.

– Ты не рассердился на мой вопрос?

– Всякому немцу, а тем более такому, как ты, должна быть ясна подлая роль предателей рабочего класса Германии, предателей всего немецкого народа, продавших его свободу и благополучие сначала буржуазии, а потом фашизму. Я говорю о всяких шейдеманах, лебе, носке, зеверингах и прочей мрази, которая для маскировки продолжает прикрываться именем социал-демократии, хотя от великой немецкой социал-демократии ничего не осталось. Ее лучшие традиции переняли мы, коммунисты...

Они медленно шагали вдоль набережной, к улице Инвалидов. На углу они расстались. Рупп дружески сжал руку Лемке у локтя, словно хотел поделиться избытком бодрости со своим учителем.

Лемке видел, как фигура юноши исчезла в толпе.

Обязанность Руппа заключалась только в том, чтобы передать сигареты служителю суда. Лемке отлично знал, что самое трудное начнется дальше – на маленьком пространстве двора, отделяющего здание уголовного суда от тюрьмы Маобит. Лемке был уверен, что нет никаких оснований беспокоиться за Руппа и за письмо на первом этапе. И все же он не мог заставить себя повернуться и уйти. Он хотел своими глазами убедиться в том, что Рупп целым и невредимым выйдет из подъезда суда. Хотелось понять по его взгляду, что все благополучно.

Задумавшись, Лемке не заметил, как очутился у подъезда суда. Его привел в себя негромкий голос:

– Не скажете ли, который час?

Лемке машинально посмотрел в лицо спрашивающего, поймал его ощупывающий взгляд и, вынув часы, молча показал их.

Лемке не понравилось, что взгляд незнакомца, едва скользнув по часам, снова пристально остановился на его лице.

Он спрятал часы, так и не произнеся ни слова.

Широкие двери суда то и дело отворялись. По ступеням спускались люди. Но среди них все не было Руппа. Лемке взглянул на часы: он больше не мог оставаться тут. Несмотря на владевшее им беспокойство о судьбе юноши, он должен был уйти. Он уже не видел, как Рупп вышел из дверей суда, сдерживая радостную улыбку, и быстро зашагал прочь.

5

Выходящее во двор широкое окно было растворено настежь. Прохладный осенний воздух врывается в комнату, надувая занавеску.

Станок, за которым работал Шверер, стоял прямо против окна, но генерал не замечал холода. Ворот старой домашней тужурки из верблюжьей шерсти был расстегнут, и из него торчала жилистая шея, по которой время от времени, в такт глотательным движениям, пробегал большой острый кадык. Обшлага куртки были аккуратно завернуты – каждый ровно на два дюйма, чтобы не мешать движениям маленьких проворных рук, покрытых иссиня-красной, как на лапах замерзшего гусака, кожей. Кожа эта бугрилась от склеротических узлов на вздутых венах.

Брюки на Шверере были тоже старые, из тех, что уже неловко носить на людях. Лампасы возле карманов немного залоснились; сзади, там, где штанины касались шпор, они были тщательно подрублены, отчего стали в тех местах чуть короче. К тому же брюки были узкие – того фасона, на манер уланок, какого давно уже никто не носил.

Генерал был невысок ростом, узок в кости и сухопар. От седых, остриженных бобриком волос и седых бровей, кисточками, как у рыси, торчащих у висков, его розовое, выбритое до блеска лицо казалось красным. Сухие тонкие губы были плотно сжаты. Серые навывкате глаза внимательно шурились из-за очков.

Своей мохнатой желтой курткой, алыми лампасами на брюках, острым носом и маленькой головой на длинной шее Шверер напоминал злую красноногую птицу, нацелившуюся клюнуть то, что вертелось в патроне монотонно жужжащего станка.

Старик стоял, не сгибая спины, и, опершись мизинцем о супорт, сквозь лупу следил за острием резца.

Блестящая ниточка стружки, весело извиваясь, сбегала с вращающегося кусочка металла.

Увлечение работой не мешало генералу изредка коситься на часы. Это были особенные часы, с ясными цифрами, с четкими черточками делений. Длинная секундная стрелка, трепетно вздрагивая, бежала по циферблату.

Домом Шверера командовали часы. Они висели во всех комнатах. Дом был наполнен шорохом неустанного движения времени.

Подчиняясь стрелке часов, генерал снял ногу с педали и выключил станок. Пора было идти в столовую.

Он повесил тужурку в шкаф и сделал несколько гимнастических движений. Холодный ветер заставил его поежиться и затворить окно.

В столовую он вошел уже в форменном кителе, застегнутом на все пуговицы.

Фрау Эмма Шверер зябко повела плечами от холода, пахнувшего из дверей кабинета, но тут же улыбнулась, делая вид, будто ей это нисколько не неприятно.

Наливая мужу кофе, она волновалась так, словно это был экзамен невесте по домоводству, а не обычный утренний завтрак, такой же, как каждый день в течение тридцати восьми лет их совместной жизни. Генерал читал газету, но фрау Шверер была уверена, что его взгляд одновременно отмечает и каждое ее движение, и бег стрелки на стенных часах.

Сколько раз она делала попытки убрать эти безобразные часы из столовой! Однажды пустилась даже на хитрость: за счет хозяйственной экономии купила красивые саксонские часы и повесила их вместо этой отвратительной никелированной тарелки. Но на другой же день опять увидела ее на стене, рядом с новыми фарфоровыми часами.

И вот острое стальное жало секундной стрелки короткими толчками снова подгоняло ее. Как будто она была на вокзале, а не у себя дома!

Фрау Шверер пододвинула мужу чашку. Бережно держа ложечку костлявыми пальцами с коротко стриженными выпуклыми синими ногтями, Шверер сыпал в кофе сахар. Следя за тем, как исчезают с поверхности кофе голубоватые кристаллы, он проговорил, словно в пустое пространство:

– Читала сегодня статью Дарре «Новая знать крови»?

– Ты же знаешь, я не читаю таких статей.

– И совершенно напрасно! Мы никогда не сможем иметь надлежащего призывного контингента, если женщины не будут обязаны рожать так же, как мы, мужчины, обязаны служить.

Она опустила глаза:

– Служить и рожать – это... не одно и то же.

– Нам нужно много солдат!

– Я не могу привыкнуть к твоему новому тону, Конрад.

Пока фрау Шверер снова наполняла пустую чашку, генерал сорвал обертку с толстой пачки газет. Это была не обычная бандероль, как на других газетах, а конверт из плотной бумаги. На нем краснел штамп отдела печати министерства рейхсвера: «Только для личного пользования». В пачке были газеты из Советского Союза.

Генерал наскоро пробежал заголовки статей, отмечая то, что следовало потом внимательно прочесть.

– Отто опять не ночевал дома, – нерешительно проговорила фрау Эмма.

Генерал с досадою оторвался от «Красной звезды».

– Наверное, провел ночь не хуже, чем если бы лежал у себя в постели, – сказал он.

– Но... мальчик ведет ненормальную жизнь.

– А что ты считаешь нормальной жизнью для офицера?

– Ты не думаешь о здоровье детей!

Шверер посмотрел на нее поверх очков.

– Еще что-нибудь?

– Вот и Эрни совсем отбился от рук.

– Ты хочешь семнадцатилетнего оболтуса умывать по утрам губкой? В этом Ха-йот¹ из него сделают, по крайней мере, здорового человека.

– Но с ними там бог знает как обращаются!

– Я приветствую то, что наци вырвали наконец наших сыновей из-под подолов мамаш!

– Кажется, я воспитала старших мальчиков и без помощи этих новых организаций.

– Пример тому – твой слюняй Эгон?

– Не всем же Бог дал быть военными.

– Он – фон Шверер!

– Он занимает хорошее положение.

– Я предпочитаю пехотного лейтенанта профессору механики!

Генерал сердито отодвинул пустую чашку.

– Но, Конрад...

– Я шестьдесят пять лет Конрад! И, кстати говоря, из них тридцать восемь я пью кофе с простывшими сливками...

Генерал порывисто встал, повернулся на каблуках и вышел.

Войдя в кабинет, он с минуту стоял, потирая руки и с удовольствием оглядывая письменный стол. Потом опустился в кресло перед столом – старое кресло, кожа которого побелела от сидения. На широком поле стола были аккуратно разложены справочники, стопки чистой бумаги, на видном месте – папка с надписью: «Марш на восток. Исследование генерал-лейтенанта Конрада фон Шверера».

¹ Ха-йот – начальные буквы названия фашистской организации молодежи – гитлерюгенд (Hitler-Jugend).

– Итак!

Шверер произнес это вслух, пододвигая к себе папку с рукописью. Вдруг он гневно оттолкнул кресло, вскочил и побежал к двери.

– Эмма!

Фрау Шверер в испуге выронила из рук вязанье.

– Кто трогал мои бумаги?

– О, Конрад! – Она всплеснула руками. – Кто посмеет?

– Кто входил в кабинет?

– Но, Конрад, клянусь тебе... Анни сама стирает пыль.

– Но я же вижу...

– Может быть, полотер нечаянно? – высказала предположение фрау Шверер.

– Полотер? Сколько раз я просил, чтобы ты была в комнате, когда там натирают пол.

– Я так и делаю, Конрад. Я слежу за каждым его шагом, – солгала фрау Шверер. – Но, может быть, как-нибудь, когда он двигал стол...

– А что, у нас натирает все тот же солдат без руки, что и прежде? – спросил Шверер, так же внезапно успокаиваясь, как и вспылал. – Кажется, довольно старательный мальчик, а?

– Бойс прекрасный полотер, Конрад!

– Видна солдатская школа, а?

– О да, отличная школа! – с готовностью согласилась фрау Шверер.

Генерал поднял упавшее на пол вязанье жены и стал его рассматривать со снисходительным вниманием. Внезапно, бросив вязанье на стол, быстро нагнулся, поцеловал, точно клюнул, у жены руку и поспешно вернулся в кабинет.

Снова раскрыл рукопись и провел ладонью по заглавному листу.

«Марш на восток». Только на восток! Ключевые позиции для броска на Париж и Лондон – за русской границей. Это Ленинград, это Москва, это Киев! Это должны понять все, от кого зависит решение судеб Германии, а следовательно, Европы и всего мира, немецкой Европы, немецкого мира, черт возьми! Тем, кто с этим не согласен, можно заткнуть глотку ссылкой на «Мейн кампф». Швереру казалось, что в его труде не было ни одного уязвимого места. Он обещал миру восточные Канны, о каких не мечтал ни один полководец!

Шверер сделал несколько заметок для памяти: масштаб операции опрокидывал разговоры Секта и Фуллера о профессиональной армии. Охват задуманного размаха исключал возможность оперирования малочисленной армией, как бы она ни была подвижна.

Нужно было еще подумать и о том, какой должна быть собственно немецкая армия. Нужны моторизованные армии, способные беспощадно и энергично подавить любое недовольство, любую тенденцию к отпадению союзников и вассалов. Нужны чисто полицейские силы, способные понудить к бою нежелающих, а в случае надобности попросту уничтожить их.

Это должно прийтись по вкусу Гитлеру!

Но пока Шверер одинок! Господь Бог наградил его тремя сыновьями, но не позаботился о том, чтобы хоть одного из них сделать помощником отцу.

Когда-то он возлагал надежду на старшего, Эгона. Но надежда рухнула, когда Эгон сменил карьеру военного на математику. После ранения и возвращения с войны Эгон стал чужим. Он не понимал отца и, видимо, не желал его понимать. В глазах Эгона всегда мелькает насмешка, когда ему приходится сталкиваться с Отто. Откровенное презрение, а может быть, и более неприязненное чувство кривит его губы при виде младшего брата, Эрнста.

Эрни звезд с неба не хватает, но мальчик знает, чего хочет. Может быть, он немного и избалован, да ведь ему нет еще и восемнадцати. Перебесится!..

Отто? Этот на верном пути. Мольтке из него не выйдет, но хорошего штабного офицера из него сделать можно.

Кстати, не голос ли Отто слышен в столовой?

Шверер встал из-за стола, на цыпочках подошел к двери и поглядел в замочную скважину. Эмма может успокоиться: малый жив и здоров.

6

Ян Бойс, полотер, проснулся весь в поту.

Снова этот проклятый сон! Который уже раз Ян приказывал себе не думать обо всем этом. Как если бы всего этого с ним вовсе и не было. Никогда не было. Не должно было быть!

Ян часто повторял себе это, с тех пор как впервые увидел такой сон. Он хотел убедить себя забыть, выкинуть из памяти эти события.

Если бы у полотера Яна Бойса были деньги на гипнотизера, он непременно пошел бы к нему. Ведь в газетах частенько можно видеть объявление: «Заставлю вас забыть о том, что вы когда-то курили». Пусть бы и его заставили забыть о том, что... обо всем, что случилось тогда на Украине...

И вот снова тот же сон. Да, в последнее время с его нервами происходило что-то неладное.

Снова и снова далеким видением возникало перед ним поле боя в украинских степях. Это был жаркий бой 4 февраля 1918 года. Отряд украинских партизан загнал в Черную балку батальон 374-го ландверного полка оккупационных войск генерал-фельдмаршала Эйхгорна. Партизаны истребили весь батальон. И некому было бы рассказать об этом бое, если бы не уцелел один солдат – Ян Бойс.

Он долго ползал между телами убитых немцев. Убедившись в том, что все они мертвы, он потащился к селу, где была немецкая комендатура, бережно поддерживая раненую правую руку левой. Да, он так и остался единственным, кто мог рассказать, что произошло с батальоном 374-го полка.

Этапная комендатура. Госпиталь. Ампутация правой руки. Военский проездной билет до Берлина...

В солдатской книжке инвалида Яна Бойса в качестве его мирной профессии значилось «столяр». Вернувшись с фронта, Бойс намеревался поступить в школу для калек, где обучали новым профессиям одноруких, одноногих и вовсе безногих людей. Но инвалидом был теперь каждый десятый немец, а школ столько, что попасть в них мог едва каждый десятый инвалид.

И вот однажды, когда Ян пришел в партийный комитет своего района, чтобы пожаловаться на судьбу и порядки, функционер сказал ему:

– Что тебе школа, Ян? Есть дела, которые не требуют двух рук, были бы голова да ноги...

Оказалось, что для исполнения обязанностей связного партийных организаций как нельзя больше подошло бы занятие полотера.

– Полотер?! – с негодованием воскликнул Ян. – Мне, столяру и сыну столяра, превратиться в барского угодника? Ты в своем уме, товарищ?! Сделать из меня какого-то люмпена! Каково?!

Но функционер ответил очень спокойно:

– Когда отец хотел меня наказать, он говорил: «А ну-ка, марш от верстака!.. Садись и пиши». Для меня не было и нет худшего наказания, чем торчать за столом и водить пером по бумаге. Но ты видишь, Ян, я сижу и пишу. Это нужно партии, и... пишу.

Много времени спустя после войны, когда инвалидам были сделаны новые руки и ноги из алюминия и кожи, выдали искусственную руку и полотеру Яну Бойсу. Рука была отличная. С пятью алюминиевыми пальцами в черной перчатке. Такою рукою можно было бы, при желании, даже держать рубанок. Однако Ян не вернулся к профессии столяра. Он продолжал натирать полы. У него была хорошая клиентура. Он брал работу с разбором. А заработок? Что ж, он ведь не собирался строить на свой заработок виллу в Грюневальде.

Ян включил свет и посмотрел расписание визитов на сегодня. Расписание висело над столом. Оно было написано не очень красиво. Не так-то легко было научиться писать левой рукой.

Ничуть не легче было привыкать и к тому, чтобы держать перо искусственной рукой. Однако все же каждая буква была разборчива. В расписании стояли фамилии клиентов: генерал Гаусс, генерал Шверер, генерал Пруст... Генералы, чиновники, фабриканты. Никакой шушеры.

Сегодня Яну предстояло натереть паркет в домах его превосходительства генерал-полковника Гаусса и адвоката Трейчке. Сбоку листка против сегодняшнего числа была сделана приписка: «Внести членский взнос в союз полотеров».

Ян отдернул штору и выключил электричество. Он отворил форточку и принялся делать гимнастику.

Жутковато выглядел обрубок правой руки, когда Ян проделывал движение номер семь: «сгибание руки в локте на высоте плеч». Но Ян уже привык к своей укороченной конечности и не без удовольствия следил в зеркале за тем, как наливался шар бицепса при сгибании локтя.

Покончив с натиркой полов у генерала Гаусса, полотер Ян Бойс вышел на улицу и машинально повернул было направо, домой, но тут же вспомнил, что ему нужно на вокзал: ведь по вторникам – натирка полов у адвоката Трейчке, в Нойбабельсберге. Выйдя на Вегенерштрассе, он свернул к Фербеллинерплатц, где и спустился в колодезь подземки. Через десять минут он был уже на вокзале Фридрихштрассе, а еще через пятнадцать стоял в вагоне электрички, прижатый к простенку между двумя окнами. В любое из них, если вытянуть шею, можно было любоваться грязными крышами домов, над которыми грохотал поезд.

Надо отдать должное адвокату Алоизу Трейчке: он был аккуратным человеком. По вторникам, к приходу полотера, он всегда был дома. Это было необходимо. К семи часам, когда приезжал Бойс, прислуга господина Трейчке заканчивала свой рабочий день и уходила, поставив на стол ужин для адвоката. Следует заметить, что адвокат был холост и частенько задерживался в Берлине после того, как запирает свое городское бюро, но, конечно, не по вторникам.

И в этот вторник, как всегда, Трейчке был уже дома. Он сидел в старом неуклюжем кресле возле книжного шкафа, курил и болтал с Яном, пока тот передвигал мебель и старательно вошил и без того похожий на стекло паркет. Ян немногословно и даже, казалось, неохотно рассказывал адвокату кое-какие новости из числа тех, что обычно слышит в домах полотер. Сегодня главным было сообщение об отъезде генерал-лейтенанта фон Шверера на Дальний Восток.

Трейчке обладал, по-видимому, способностью рассредоточивать свое внимание. Разговор с Яном не мешал ему сортировать коробки из-под сигарет, принесенные полотером. Трейчке был страстным коллекционером сигаретных коробок. Большие листы десятка альбомов были им собственноручно оклеены этикетками. Он старательно разделял крышку коробки надвое и наклеивал лицевую и тыльную стороны рядышком. Этикетки были рассортированы в альбомах по годам выпуска. По словам адвоката, они давали наглядное представление о ходе истории той страны, в которой выпускались. Господин Трейчке пробовал увлечь полотера зрелищем нескончаемого ряда этикеток, но Ян не проникся ни художественной, ни исторической ценностью коллекции. Однако он охотно исполнил просьбу Трейчке, начав собирать для него коробки у прислуги в домах, где работал. Что же тут трудного – сунуть в карман несколько картонных коробочек и во вторник привезти их в Нойбабельсберг? Правда, далеко не все они входили в коллекцию Трейчке. Лишь немногие. Остальные адвокат тут же кидал в камин, всегда топившийся по вторникам, очевидно, для того, чтобы скорее просыхала мастика, накладываемая на паркет полотером.

И в этот вечер господин Трейчке, изучив коробки, отложил две для коллекции, а остальные бросил в камин.

Ян закончил работу, ловко вымыл руку хозяйским мылом и совсем уже было собрался уходить, когда Трейчке сказал:

– Вот что, Бойс... Я очень доволен вашей работой! – Он приветливо кивнул в ответ на вежливый поклон Яна. – Поэтому я рекомендовал вас своей соседке, фрау Александер. Это

очень достойная дама, супруга полковника Александра. Сам полковник почти не бывает дома. Две уже почти взрослые дочери полковника учатся в Берлине. Так что, собственно говоря, в доме даже некому топтать полы. К тому же, дорогой мой Бойс, – многозначительно закончил Трейчке, – у садовника полковницы вы сможете получать для меня интересные экземпляры папиросных коробок. – Бойсу показалось, что при этих словах в глазах адвоката промелькнула лукавая усмешка. – Да, очень интересные экземпляры, господин Бойс!

Ян не стал возражать.

Засунув нехитрые принадлежности своего ремесла под протез, он приподнял шляпу и вышел на улицу.

Проходя по аллее, Ян с интересом поглядел на окна дома рядом с адвокатом. Это была небольшая, увитая плющом вилла полковника Александра.

Адвокат Алоиз Трейчке повертел в пальцах одну из отобранных для коллекции коробочек, вынул из жилетного кармана перочинный нож и длинным тонким лезвием расслоил ее крышку. После этого он вооружился лупой и долго, внимательно изучал внутреннюю поверхность расслоенного картона.

Он рассматривал ее так внимательно, словно надеялся увидеть на ней нечто совсем иное, чем обычную картинку и название фирмы, такие же, как на миллионах других коробок.

По мере того как он смотрел в лупу, лицо его делалось все более сосредоточенным, брови сходились и глубокая морщина ложилась поперек лба над переносицей. Лицо адвоката, которое полотер Бойс привык видеть почти всегда веселым, стало серьезным, даже озабоченным и уже не казалось таким молодым. Тот, кто взглянул бы на адвоката сейчас, понял бы, что обычная его внешность была обманчивой. Правду о его душевном состоянии говорили не чистый лоб и ряд всегда полуоткрытых в улыбке белых зубов, а серебряные нити в волосах и выражение скорби, сквозившее во взгляде, который не от кого было теперь прятать в одиночестве сумеречной комнаты. Трейчке знал, что дома он может не скрывать своих чувств и единственное, чего он не может себе позволить, – говорить то, что думает. Этому мешало наличие в каждой комнате искусно скрытого микрофона. Их присутствие Трейчке обнаружил давно, но оставил их в полной неприкосновенности, довольный тем, что в его доме, с уходом прислуги, оставались только уши гестапо, а не ее глаза. Это приучило его наедине молчать, а с другими говорить только о том, что должно было рано или поздно доказать гестапо, что она напрасно теряет время на подслушивание. Впрочем, уже самый тот факт, что микрофоны появились именно в его доме, наводил на тревожные размышления. Пришлось перестроить всю систему связи, переменить всех людей, изменить весь план действий.

В новой цепочке, организованной партийным подпольем, настоящим кладом был связной Бойс, с риском для жизни собиравший для него почту под видом папиросных коробок. Бойс был так сдержан и дисциплинирован, что ни разу ни полусловом не дал понять адвокату, что знает об истинном назначении этих «экспонатов» для его альбома.

Трейчке не боялся за себя: пребывание на таком посту, где каждый шаг был хождением по острию ножа, закалило его волю и выковало такое самообладание, что он вообще никогда уже не думал об опасности с личной точки зрения. Если что его беспокоило, и беспокоило подчас сильно, так это была опасность провала связей, страх за звенья цепочки, которые шли от него. Он хорошо отдавал себе отчет в том, что щупальца нацистской тайной полиции могут в любую минуту зацепиться за одно из звеньев и привести к разрыву всей цепи. А теперь, когда партия работала в таком глубоком подполье, когда каждый оставшийся на поверхности человек, сохранивший свободу передвижения и чистый паспорт, был неоценим, такой разрыв был бы настоящим бедствием. Поэтому каждое прикосновение к тому, что подпольщики называли «почтой», заставляло его испытывать ощущение, близкое к ожогу. Зато появление каждой почты, каждого слова, благополучно прорвавшегося сквозь полицейские кордоны, было для него большой радостью, настоящим праздником.

Нагнувшись к камину, бросавшему трепетные отблески на кусочек картона, Трейчке с жадностью всматривался в различные только в лупу наколы кода. Он хорошо знал Тельмана, его ясный и точный ум, его непреклонную волю и удивительную чистоту души. Он верил в него, как верили все коммунисты. Он любил Тельмана так же, как его любили рабочие Гамбурга и Берлина, Бохума и Дюссельдорфа, – любого другого города, видевшие Тельмана на ораторской трибуне, слышавшие его ясные, твердые, как сталь, горячие, как пламень, слова.

Да, Трейчке очень любил своего гамбургского земляка Тэдди. И было тяжело, мучительно тяжело читать теперь все такие же ясные, как прежде, такие же разящие, как всегда, такие же полные непреклонной веры в свое дело, любви к своему народу слова и представлять себе обстановку, в которой они писались.

Прошло не меньше часа. Трейчке все еще сидел с папиросной коробкой в руках, задумчиво склонившись перед едва мерцающим камином. Угли уже совсем догорали, когда Трейчке, в последний раз взглянув на разрезанную крышку, кинул ее в огонь. Он пододвинул к коробке несколько горячих углей и даже подул на них, чтобы картон поскорее загорелся. Когда от него остались только завитушки черного пепла, Трейчке тронул их щипцами, и следы коробочки окончательно исчезли.

Глядя, как распадаются легкие хлопья, Трейчке вспомнил о полотере Бойсе. Скоро полотеру, может быть, удастся принести ему тем же способом известия из нового источника: из самого логова зубра нацистской военной разведки полковника Александра. Много терпения и труда было затрачено на то, чтобы установить связь с одним из солдат, обслуживавших Александра, и добиться возможности получать от него информацию. А эта информация сейчас была остро нужна. До подпольного руководства партии дошли сведения, что диверсионная служба Александра снова протянула свои ядовитые щупальца к Советскому Союзу. Было установлено, что Александр восстановил прерванный было контакт со своим прежним тайным агентом Зеегером – одним из главарей берлинской организации социал-демократов веймарских времен. Этот Зеегер, исключенный в свое время из компартии за троцкизм и вернувшийся к социал-демократам, прилагал теперь усилия к тому, чтобы установить связь с троцкистами, ведшими подпольную подрывную работу в Советском Союзе. Эти нити нужно было обнаружить, их нужно было постараться перервать, дать сигнал русским товарищам об опасности, грозящей им со стороны троцкистских ренегатов. Ренегаты, являвшиеся платными секретными агентами немецкой военной разведки, получили от своих хозяев новую установку: попытаться затормозить бурное движение Советской страны по пути хозяйственного развития. Трейчке не знал точных инструкций, полученных троцкистами от Александра, но ему было известно, что в числе провокационных лозунгов, которые они должны были пустить в ход, существовал предательский лозунг противопоставления друг другу старого и молодого поколений прежде всего в среде партийных работников, но также и во всякой другой среде, в какую только удастся проникнуть троцкистам: среди инженеров, ученых, писателей, рабочих – всюду, где только можно внести смуту и расстройство в ряды строителей социализма. Это было уже известно. Партия поручила Трейчке узнать остальное. Опасную нить, тянущуюся от Троцкого через немецкую разведку в СССР, нужно было перерезать.

Было очень странно видеть, что такой почтенный человек, как доктор Трейчке, способен, подойдя к углу комнаты, нагнуться к полу и ни с того ни с сего показать вдруг язык. На полу не было ничего, кроме медной сетки вентиляционной системы.

7

Годар вышел на станции метро Севр-Бабилон. Он никогда не делал пересадки, хотя от этого скрещения линий до бульвара Сен-Жермен оставалось еще два перегона. Врач предписал Годару бывать среди зелени, и он добросовестно полагал, что покрытые пылью каштаны бульвара Распай и есть та самая зелень, которая так нужна его сердцу и легким.

Никто не угадал бы в этом сутулом человеке, одетом в мешковатый, несвежий штатский костюм, майора французской секретной службы.

Годар шел, подавшись вперед, заложив руки за спину. Он тяжело дышал, несмотря на прохладу раннего парижского утра.

Выходя из метро, Годар снимал плюшевую шляпу с засаленной лентой и нес ее в руках. Его непокрытые волосы вздымались неопрятною копной, которую обильная седина и еще более обильная перхоть делали серой. Перхоть покрывала и воротник пиджака, и плечи. Можно было подумать, что платье майора никогда не чистится. Цвет лица у Годара был землисто-серым; под глазами темнели набухшие мешки – прямое свидетельство того, что сердце и почки майора требуют лечения.

Годар шел медленно, останавливаясь, чтобы прикурить от догорающей сигареты новую. Обычно окурочек успевал так прилипнуть к краю нижней губы, что сплюнуть его было невозможно, и Годар, морщась от боли, отлеплял его пальцами. Он выходил из метро ровно в восемь часов пять минут. Он знал, что через восемь минут, необходимых ему, чтобы дойти до станции Распай, он увидит там выходящего из метро капитана Анри. В их распоряжении останется семнадцать минут, чтобы посидеть на скамейке в ста пятидесяти шагах от угла бульвара Сен-Жермен и Университетской улицы, так как ровно в половине девятого они должны будут войти в подъезд Второго бюро...

И действительно, еще за пятнадцать-двадцать шагов до станции Распай Годар увидел Анри.

Капитан Анри, маленький, подвижной, со смуглым лицом и живыми карими глазами, был в хорошо сшитом сером костюме. Его иссиня-черные волосы, густо смазанные бриллиантом и расчесанные на прямой пробор, блестели, отчего голова капитана казалась лакированной, как у манекена в магазинной витрине. Только одна узкая прядка волос как бы случайно опускалась на левый висок, чтобы скрыть белый шрам, уходивший за ухо. Над верхней губой Анри чернели тонкие, подбритые сверху и снизу усики.

Когда-то, во времена мировой войны, Годар и Анри были друзьями, но служба разлучила их на многие годы. Теперь она снова свела их во Втором бюро, где оба были начальниками отделов.

Увидев Анри, Годар, как всегда, взглянул на часы, чтобы проверить себя.

– Посидим, – сказал он, опираясь на спинку скамьи, под тем же самым каштаном, под которым они сидели каждый день. – С сердцем-то все хуже...

– Нужно куда-нибудь поехать, – как обычно, ответил Анри.

– Да... – Годар затянулся, прикуривая новую сигарету, и тяжело задышал. – Я и сам так думаю... Но, знаешь ли, как-то все не выходит. Проклятые боши не дают передышки. Смешно сказать: когда мы с тобою были мальчишками, то, помнится, я все бормотал: «Вот только покончим с бошами – и все пойдет как по маслу!» И вот моя шевелюра похожа на половую щетку самой подлой консервочки, а я повторяю все ту же фразу: «Вот только покончим с бошами...» Хотел бы я знать, когда мы действительно покончим с этими свиньями.

– Теперь все становится ясно!

– Да... – насмешливо проворчал Годар. – Так ясно, что можно зареветь от отчаяния. Сперва я думал: вот прояснится ситуация с Гитлером – уеду в Алжир. И вот действительно все ясно! А я все тут: жду, когда кончится возня со штурмовиками.

– Это не может долго тянуться. – Анри разглядывал в карманное зеркальце свои усики, притрагиваясь к ним мизинцем. – Они должны вцепиться друг другу в глотки.

Годар покачал головой:

– Да, сейчас не время для моего лечения.

– Реорганизация, предпринятая генералом, сулит большое оживление.

– Э, мой друг! – Годар безнадежно махнул рукой.

– Ты думаешь?..

– Поработаешь с мое – увидишь! Любая разведка и контрразведка должна быть агрессивной. Наступать и наступать. Этого не хотят понять у нас. Трясутся над каждым франком.

– Тут ты прав, – безразлично согласился Анри, но таким тоном, словно ему было все равно. Он поднял зеркальце, чтобы рассмотреть белую ниточку своего пробора.

– И это – рядом с миллионами, которые бросает на разведку Англия, с десятками миллионов, которые дают боши! Мы совершенно утратили инициативу, – проворчал Годар.

– Ты преувеличиваешь. Немцы кричат о своей осведомленности, чтобы запугать противника.

– Но самое забавное, что их тупого бахвальства достаточно, чтобы заставить нас дрожать от страха!

– Нас?!

– Да, да, дружище, нас! Наш генштаб. Он прячется за Второе бюро, как за какую-то своеобразную линию Мажино. Он придумал себе эту новую «линию Сен-Жермен» и спит спокойно.

– Ты, как всегда, преувеличиваешь!

– Хотел бы, чтобы это было преувеличением! – Годар посмотрел на часы. – Пора.

Они поднялись и вошли в подъезд бюро.

В высоком просторном зале было очень светло. Сквозь листву подступивших к окнам деревьев в комнату влетали солнечные зайчики и прыгали по панелям стен, отделанных красным деревом. Игривость солнечных бликов мало гармонировала с царившей в комнате чинной тишиной, с сумрачной неподвижностью сидевших за большим овальным столом двенадцати мужчин.

Никто не говорил.

Большинство курило.

Двое-трое проглядывали утренние газеты.

Один сосредоточил внимание на напильничке, которым подправлял ногти.

Ни перед кем из сидящих не было бумаг или папок, даже блокнота или карандаша.

До девяти часов оставалось несколько минут. Три кресла возле стола были свободны. Но вот вошли Анри и Годар. Холодный, неопределенный кивок в пространство, и каждый опустился в кресло, раз навсегда отведенное его отделу. В этом кресле сидел его предшественник. Каждый день без нескольких минут девять в него будет опускаться его преемник.

Ровно в девять быстрыми шагами в комнату вошел генерал Леганье, мужчина среднего роста, с коротко остриженными седеющими волосами, с розовым молодежавым лицом. Его глаза были прикрыты стеклами пенсне. Как и все офицеры, он был в штатском.

Генерал опустился на председательское место и, вытянув перед собою руки, несколько мгновений смотрел на их сцепленные пальцы. Коротким кивком, без каких бы то ни было вступлений, открыл заседание. Офицеры говорили по раз навсегда установленной очереди. Генерал изредка прерывал их вопросами. Еще реже задавал вопрос кто-нибудь из присутство-

вавших. Без десяти десять генерал таким же коротким кивком отпустил офицеров, движением руки отметив Годара и Анри.

– Прошу задержаться.

Когда за последним из офицеров затворилась дверь, генерал Леганье поднялся и несколько раз прошелся по комнате. Потом остановился перед одним из окон и с таким интересом стал наблюдать за возней птиц в каштанах сада, что можно было подумать, будто он совершенно забыл об ожидающих его офицерах. Он даже водрузил на нос пенсне и несколько нагнулся над подоконником, чтобы иметь возможность лучше рассмотреть так заинтересовавших его птиц.

Но было бы заблуждением думать, что птицы способны были возбудить в начальнике Второго бюро такой интерес, чтобы заставить его забыть о делах. Прикрываясь этим невинным занятием, генерал обдумывал, как лучше изложить подчиненным поручение, способное удивить даже его привыкших ко многому людей.

– Друзья мои, – проговорил он, быстро оборачиваясь и направляясь к столу. Его голубые навыкате глаза на мгновение остановились на лицах офицеров. Затем он привычным движением сдернул с носа пенсне и ловко пустил его волчком по полированной поверхности стола. – Друзья мои, придется немного заняться историей, правда, не очень древней, но довольно туманной...

Он сделал паузу, словно ожидая реплик. Но офицеры молчали. Они слушали, уставившись в зеркальную поверхность стола, не поднимая глаз на начальника.

– Речь идет о поджоге рейхстага в Германии, – продолжал генерал. – Точнее выражаясь: о тех, кого боши обвиняют в этом поджоге, – о болгарине Димитрове и немце Торглере.

– Основной обвиняемый по этому делу, – заметил Годар, – голландец ван дер Люббе, мой генерал.

– Знаю, но из всей пятерки меня интересует именно Димитров.

– Георгий Димитров?

– Да.

– Член Исполнительного Комитета Коминтерна...

– Так!

– В тридцать втором прибыл в Париж из Амстердама под именем доктора Шаафсма, жил, не отмечаясь, в Латинском квартале, виделся с Торезом и Кашеном...

– Так!

– Разыскивался болгарской тайной полицией... – Годар на мгновение умолк и исподлобья взглянул на Леганье. – Ваш предшественник, мой генерал, обещал ей содействовать в устранении его со сцены.

– И что же?

– Сюртэ прозевала.

– Вечная история!

– Димитров уехал отсюда в Брюссель, под именем Рудольфа Гедигера...

– Так!

– Потом побывал в Москве...

– У вас хорошая память, Годар!

– В то время я сидел на этом разделе.

– Поэтому-то я и остановился на вас... Немецкие наци из-за своей неуклюжей работы очутились в затруднительном положении с инсценировкой поджога.

– Неуклюжи, как медведи! – со злорадством сказал Годар.

– Мы должны им помочь.

– В каком смысле, мой генерал?

– Димитров превратил скамью подсудимых в Лейпциге в трибуну для пропаганды коммунизма. Посмотрите, что из-за этого творится у нас во Франции: полюбуйтесь на Роллана и других, не говоря уже о наших собственных коммунистах.

– Может быть, отсюда и нужно начать?

– Нет! – Пенсне снова совершило несколько быстрых оборотов на лакированной поверхности стола. – Рубить нужно корни! И, по возможности, вне Франции, – Леганье взмахнул розовой рукой, – там!..

– Понятно, мой генерал.

– Если немцы не сумеют покончить с Димитровым...

– Надеюсь, мой генерал, – вставил Годар, – что сумеют.

– Но весь мир окажется на стороне коммунистов, если немцы просто убьют Димитрова.

– Я вас почти понял, мой генерал!

– Значит, говорю я, с ним нужно покончить так, чтобы... В этом не должен быть виноват никто. Даже немцы!

– Я понял вас до конца, мой генерал!

– Используйте берлинские связи, Годар.

– Это не составит большой сложности, мой генерал.

– Знаю ваш такт, Годар... Если немцы будут вынуждены оправдать Димитрова, что вовсе не невозможно, пусть он не попадет никуда: ни в Париж, ни в Брюссель, ни в Лондон...

– Скорее всего, он отправится в Москву.

– Да, скорее всего.

– А Москва, мой генерал... – Годар сделал безнадежный жест.

– Так действуйте, прежде чем он переедет советскую границу! Обдумайте все это и, когда у вас созреет план, доложите мне.

– Будет исполнено, мой генерал.

Леганье кивком задержал поднявшегося было Годара.

– Побудьте еще несколько минут, пока я не переговорю с капитаном. Вы должны быть в курсе всего дела! – И Леганье обернулся к Анри: – Одно из главных усилий немцев направлено к тому, чтобы доказать, что этот кретин ван дер Люббе – коммунист. Я понимаю: доказать это трудно. Если бы немцы не растеряли старых связей, они, конечно, получили бы от голландцев точные доказательства тому, что ван дер Люббе – коммунист, будь он в действительности хотя бы индийским набобом. Годар расскажет вам, как это делается.

– Я уже вошел в курс дела, мой генерал, – с готовностью ответил Анри.

– Так возьмитесь за это теперь же: голландцы должны дать все необходимое для доказательства того, что ван дер Люббе – сообщник Димитрова. Вы меня поняли, капитан?

Леганье легким ударом розового ногтя заставил пенсне сделать еще три или четыре оборота на столе и движением головы отпустил офицеров.

Когда пенсне перестало вертеться, генерал осторожно взял его двумя пальцами и легким движением, доставившим ему самому очевидное удовольствие, посадил на нос. Потом он снова подошел к окну и принялся с прежним интересом наблюдать возню птиц в ветвях деревьев.

Курьер дважды заглядывал в щелку притворенной двери в ожидании выхода начальника. Наконец Леганье спрятал пенсне в карман и, заложив руки за спину, медленно проследовал к себе в кабинет. И там еще он некоторое время мерно прохаживался, потом, погруженный в ту же необычную для него задумчивость, сидел в кресле. Наконец, преодолевая какое-то внутреннее сопротивление, он позвонил по телефону. Разговор был короткий, закончившийся фразой Леганье:

– Надеюсь, что ваше поручение в Берлине будет выполнено.

Секретный сотрудник британской разведки, сидевший на контроле телефонных переговоров начальника французского Второго бюро, тотчас передал в Лондон стенограмму разговора, в котором его внимание привлекли слова Леганье о поручении в Берлине.

Заработал телеграф между Лондоном и Берлином.

Частная каблограмма редактора лондонской газеты «Ежедневный курьер» пришла в контору ее постоянного берлинского корреспондента Уинфреда Роу, известного в международных журналистских кругах под кличкой «капитана Роу».

Причина предстоящего появления Годара в Берлине была уже ясна британской секретной службе, и цель его вполне соответствовала намерениям Интеллидженс сервис. Капитан Роу получил предписание помочь Годару выполнить его поручение.

Незадолго до того, как все это произошло, почти непосредственно за тем, как генерал Леганье опустил телефонную трубку на рычаг, майор Годар появился в его кабинете.

– Мне не хотелось говорить об этом даже при капитане Анри, мой генерал...

– Что-нибудь важное?

– Совершенно ошеломляющее сообщение пришло от Роу в Лондон, мой генерал!

– Через ваш «Салон»?

– Да. Немцы принимают участие в заговоре о покушении на жизнь Франклина Рузвельта.

– Ого! Далеко тянутся.

Майор осторожно спросил:

– Что прикажете делать, мой генерал?

Генерал, взгляд которого никогда не задерживался на лице собеседника, на этот раз пристально посмотрел в глаза Годару.

– Молчать! – выразительно, хотя и совсем не громко, проговорил генерал.

Годар поклонился и вышел. Леганье был уверен, что этот офицер понял его.

Почти такой же ответ получил и сотрудник британской секретной службы, положивший перед своим начальником расшифрованный текст срочного сообщения капитана Роу.

– Оставьте эту депешу у меня, – сказал начальник. – Я сам займусь этим.

Ни французская, ни английская секретные службы тогда еще не имели представления о силах, принимавших участие в кровавой игре, начало которой было положено радиogramмой Долласа, посланной с «Фридриха Великого» перед его приходом в Гамбург. Они не знали, что тайная нить, протянувшаяся между Берлином и Вашингтоном, уходила одним концом в личный кабинет начальника немецкой военной разведки полковника Александера, другим концом – в кабинет начальника американского Федерального бюро расследований Герберта Говера. Никто, кроме лиц, принимавших непосредственное участие в «операции», не знал, что 13 февраля 1933 года к Говеру явился агент его бюро Конрой и доложил:

– По делу ФДР, сэр.

– Выкладывайте, – сказал Говер.

– Послезавтра он выступает в Чикаго.

– Ну?

– У меня все готово.

– Кто об этом знает?

– Никто, кроме меня, сэр.

– Завтра я вам скажу. Идите!

Назавтра Говер действительно вызвал Конроя.

– Ничего не изменилось?

– ФДР вылетел в Чикаго.

– Можете лететь и вы.

– А... остальное?

– Все, как я сказал.

И Конрой вылетел в Чикаго, имея в кармане официальное предписание охранять вновь избранного президента Штатов Франклина Делано Рузвельта. Он вылетел на обычном рейсовом самолете «Пан Америкен» и не знал, что через несколько часов на служебном самолете следом за ним вылетел и его начальник Герберт Говер.

Это произошло 14 февраля 1933 года, а утром шестнадцатого, когда Джон Ванденгейм, еще лежа в кровати, нетерпеливо потянулся к газетам, первым, что бросилось ему в глаза, был огромный заголовок на первой странице «Трибюн»: «Вчера в окрестностях Чикаго совершено покушение на Франклина Д. Рузвельта. Убит мэр Чикаго Эдвард Кермак. Четверо спутников Рузвельта ранены. Убийца схвачен. Его зовут Зонгара. Следствие идет».

В водянистых глазах Ванденгейма вспыхнул яркий огонек, и довольная улыбка растянула его мясистые губы. Но уже в следующее мгновение эта улыбка исчезла. Из заметки под сенсационным заголовком было ясно: убит вовсе не Рузвельт, а мэр Чикаго, сопровождавший его в том же автомобиле.

Большая рука Ванденгейма злобно смяла газетный лист. Но он тотчас же расправил его и стал искать сообщение о судьбе покушавшегося. О нем ничего не было сказано. Выражение лица Ванденгейма стало озабоченным. Подумав, он потянулся к телефонной трубке.

В это же время в кабинете своей адвокатской конторы Фостер Доллас с такою же озабоченностью просматривал то же сообщение. Его острые глазки беспокойно шныряли по газетному листу. Потом с нерешительностью остановились на телефонном аппарате. Он взялся за трубку в тот момент, когда раздался встречный звонок Ванденгейма.

– Видели? – послышался в трубке голос Джона.

– Да.

– Какая досада!

– Да.

8

Гонимый ветром мокрый снег с силой ударял в стекла маленького забранного решеткой окна. Он налипал размокшими комьями; комья подтаивали и сползали вниз. Их нагоняли струйки воды, размывали и сгоняли на гранитный подоконник окна в комнате для подсудимых лейпцигского суда.

Димитров, сдвинув брови, глядел на «плачущие» стекла. Он старался заставить себя думать о предстоящем судебном заседании, но мысли непослушно разбегались и уносились к жизни, шедшей по ту сторону решетки. Темной стеной, отгораживающей воспоминания, вставала тюремная камера в Моабите, потом камера полицейской тюрьмы. Вот следователь Фохт, изо дня в день в течение шести месяцев следствия прилагавший усилия к тому, чтобы добиться признаний: сначала лишение газет и книг, потом уменьшение пайка, перевод из камеры в камеру все меньших и меньших размеров, пока не стало возможности сделать даже два-три шага. Наконец – строгие наручники. Фохт велел надевать их на ночь, потом приказал и днем снимать их только на время обеда и одного часа, отведенного для подготовки материалов к процессу. В строгих наручниках руки накладывались крест-накрест, одна на другую и смыкались стальными кольцами запястье к запястью так, что малейшее движение причиняло невыносимые страдания.

За темную тесноту тюремной камеры вставал огромный светлый мир. Из него Димитров пришел и в него должен вернуться во что бы то ни стало – в мир открытой борьбы. В этом прекрасном мире, подобно мощному светилу, лучи которого проникают сквозь камень и бетон тюремных стен, через все преграды, воздвигаемые палачами, сияет гений великих учителей...

Когда мысль Димитрова приходила к этой точке, в его памяти вставал живой Ильич таким, каким он видел его.

Теперь, в эти трудные дни ожесточенной борьбы с машиной фашистской юстиции, душа Димитрова тянулась к образу Ленина.

Сотни раз перебирал он в памяти слышанные им слова Ленина, тысячу раз мысленно повторял строки его произведений. Это было нелегко. Все просьбы Димитрова о предоставлении ему сочинений Ленина, необходимых для подготовки защиты, Фохт отклонял...

Димитров смотрел на бегущие по стеклам холодные струйки талого снега и хмурился, стараясь сосредоточить мысли на предстоящем заседании суда.

Может быть, от холода, царившего в комнате для подсудимых, а может быть, просто оттого, что непривычно было чувствовать свободу от оков, снятых на время процесса, Димитрову все время хотелось потереть руки. Но всякий раз, как он, забывшись, прикасался к запястьям, натертым наручниками, жаркая боль заставляла отдергивать пальцы.

Димитров взял карандаш, потянулся к блокноту. Силясь как можно точнее вспомнить слова, медленно записал: «Товарищам надо было отказаться от показаний по вопросу о нелегальной организации и, поняв всемирно-исторический момент, воспользоваться трибуной суда для прямого изложения...»

Димитров морщил лоб: «...для изложения... для изложения...» Нет, ленинская формулировка выпала из памяти. Он записал, как помнил: «...для изложения взглядов, враждебных не только царизму вообще, но и социал-шовинизму всех и всяческих оттенков...»

Именно так он и должен был действовать теперь: используя то обстоятельство, что внимание всего мира приковано к процессу, превратить скамью подсудимых в трибуну – для открытого нанесения удара фашизму и всем его прихвостням. Через головы судей послать призыв к мировому единению всех антифашистских сил.

Шум распахнувшейся двери прервал мысли Димитрова.

Придерживая развевающиеся полы адвокатской мантии, в комнату торопливо вошел в сопровождении полицейского чиновника официальный защитник, адвокат Тейхерт. Профессионально привычным движением адвокат протянул открытый портсигар Димитрову. Тот отрицательно мотнул головой.

Закурив сам, Тейхерт сердито сказал:

– Если вы будете продолжать держаться столь же вызывающе, то окончательно восстановите против себя суд.

– Вы полагаете, что он и без того не восстановлен против меня? – насмешливо спросил Димитров.

– Посмотрите на ваших товарищей...

– У меня тут нет товарищей, – перебил адвоката Димитров.

– Я говорю об остальных подсудимых.

– Я тоже.

– Я имел в виду Торглера, такого же коммуниста, как вы! – сердито сказал Тейхерт.

– Он оказался очень плохим коммунистом. Его исключили из партии.

– Сейчас вы должны думать о том, чтобы сохранить не партийный билет, а голову, господин Димитров!

– Настоящий коммунист не может так ставить вопрос.

– Тем не менее вам нужно выбирать.

Димитров сделал отрицательное движение рукой и поморщился от боли в запястье.

– Я докажу непричастность коммунистической партии к поджогу. Это важнее всего!

– Я в этом совсем не так уж уверен.

– Поэтому я и отказался от вашей защиты.

– Тем не менее суд оставил меня вашим официальным защитником, – повышая голос, проговорил Тейхерт, – и в интересах дела я требую...

– Уже самый тот факт, что вы национал-социалист, исключает для меня возможность доверить вам судьбу такого важного дела, как защита моей партии от клеветы.

– Вы даже здесь не можете отказаться от пропаганды! – Тейхерт смял окурочек. – Она приведет вас на эшафот. Посмотрите, как отлично идет защита доктора Зака.

– Она стоит Торглеру чести коммуниста.

– Но сохранит ему голову!

– Недорого стоит голова, купленная таким унижением.

Тейхерт хотел что-то сказать, но внезапно резко повернулся на каблуках и вышел. Полы его мантии взлетели, как крылья большой черной птицы.

На мгновение сквозь отворенную дверь из зала заседаний ворвалась струя яркого света и гул голосов.

Сегодня на лейпцигской сессии четвертого уголовного сената имперского суда Третьего рейха был «большой день».

На утреннем заседании произошла бурная схватка между Димитровым и министром пропаганды Геббельсом. После перерыва предстоял допрос свидетеля обвинения Карнаве. Затем ожидалось выступление Геринга.

Зал возбужденно жужжал.

Приехавший сегодня в Лейпциг Роу сидел на местах прессы. Он был тут не для того, чтобы освещать процесс. Его газета вполне могла удовлетвориться материалами агентств. Роу предстояло наметить план убийства Димитрова.

Роу односложно отвечал на вопросы и замечания знакомых журналистов и хмуро оглядывал зал. Большая часть скамей была черно-коричневой от фигур штурмовиков и эсесовцев. Меньшая часть была заполнена людьми в штатских костюмах. Роу знал, что среди этой публики могли быть сочувствующие подсудимым, может быть, даже были скрывающиеся коммунисты.

Но взгляд Роу одинаково равнодушно пробежал по всем лицам. К гитлеровцам он относился так, как англичанин-любитель собак мог бы относиться к нечистоплотным, дурно дрессированным псам. Их приходится спускать с цепи, не считаясь с тем, что они могут запакостить сад. Коммунистов и всех, кто с ними, Роу ненавидел. Они были угрозой всему привычному, на чем зиждилось благополучие его собственного мира.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.